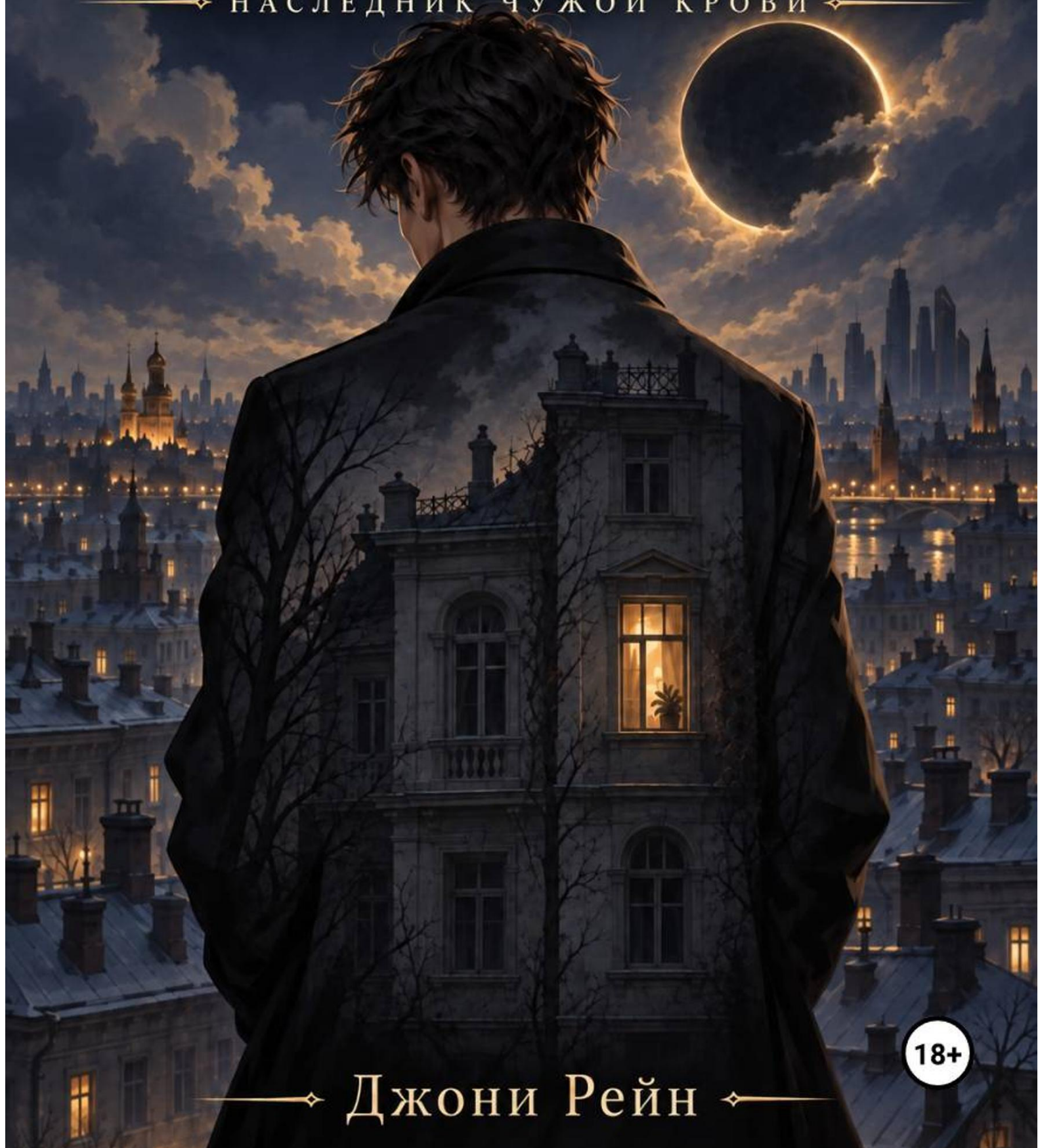


ДОМ ЧЁРНОЙ ЛУНЫ

◆ НАСЛЕДНИК ЧУЖОЙ КРОВИ ◆



◆ Джони Рейн ◆

18+

Джони Рейн

Дом чёрной луны

«Автор»

2026

Рейн Д.

Дом чёрной луны / Д. Рейн — «Автор», 2026

Я был тимлидом бизнес-аналитиков. Умел разложить чужой хаос по техническому заданию, согласовать макет с заказчиком и найти, в каком месте спецификация разошлась с тем, что в итоге построили — без единой капли крови. Теперь у меня новая работа. Дом Чёрной Луны — старинный вампирский клан, где меня не звали, не хотели и держат чужаком. Патриарх убит десять лет назад, и все делают вид, что не знают, кем. Я знаю. Осталось доказать — и остаться в живых достаточно долго, чтобы это доказательство кто-то услышал. У меня нет ранга, нет права голоса и нет союзников, которым можно верить до конца. Зато есть привычка находить, где заявленное расходится с реальным, — и клановая политика, как выясняется, сходится не лучше, чем документация с тем, что происходит на самом деле. Аудит вместо поединка. Расчёт вместо мести. И кровь, которая каждый раз требует не денег, а чего-то дороже.

© Рейн Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 Ночь обращения	5
Глава 2 Дом, который его не звал	10
Глава 3 Пробуждение Хищника	14
Глава 4 Даэлла	19
Глава 5 Слабое звено	23
Глава 6 Первая нить	28
Глава 7 Кровь как данные	32
Глава 8 Поручение	37
Глава 9 Ловушка	40
Глава 10 Цена реликвии	43
Глава 11 Протокол на одного	47
Глава 12 Трещина	52
Глава 13. Второе дно	56

Джони Рейн

Дом чёрной луны

Глава 1 Ночь обращения

[18+ — глава содержит сцены жестокого насилия]

Она втащила меня в квартиру на последнем этаже глухой брежневки рывком — цепко, без суеты, и хватка была не по её сложению: я не успел даже упереться в косяк. Тяжёлый засов щёлкнул трижды, следом глухо лязгнула цепочка. Я шагнул за порог комнаты, и дальше этих четырёх стен для меня ничего не осталось — ни лестницы, ни улицы, ни города за окнами. Первое, что я запомнил точно, — не боль. Запах.

Кровь пахла металлом и жжёным сахаром. Шло это из открытой раны на моём запястье или из воздуха вообще, я не понимал: воздух вдруг стал *плотным*, я дышал им не через нос, а через кожу.

— Не дёргайся, — сказала Дарина. Голос у неё звучал ровно, но издалека, как через два закрытых окна. — Ещё немного.

Я не дёргался. Не мог. Комната плыла — не в переносном смысле, а буквально: тени по углам ползли в стороны и стягивались обратно, свеча на подоконнике то разгоралась ярче лампы, то съживалась в едва заметную точку. Где-то внутри головы контрастность выкручивали на максимум, а потом резко сбрасывали в ноль.

Я сидел на полу, спиной к дивану, руки — её и мои — сплетены на уровне груди. Между нашими запястьями блесло что-то тёмное. Кровь. Много крови — гораздо больше, чем должно быть от одного пореза. Она уже пропитала ковёр под нами тёмным пятном, и мой мозг аналитика уцепился за привычное и подсунул: *пятно похоже на карту, вон тот выступ — как полуостров*. Мысль бесполезная. Но пока я её думал, я не тонул, — и это я отметил. Голове годилась какая угодно ерунда, лишь бы было чем заняться.

— Дарина. — Я попытался поймать её лицо взглядом. Не получалось: лицо не держалось на месте. — Дарина, тебе нужно в больницу.

— Больница не поможет. — Она улыбнулась — слабо, одним уголком рта; на второй уголок сил уже не хватило, и смотреть на эту половину улыбки было больно — не в голове, под рёбрами. — Тут другое лечится, Арсений.

Она произнесла моё имя так, будто знала его всю жизнь — а не полтора часа. Полтора часа назад она почти силой затащила меня в эту съёмную квартиру на окраине и по дороге обрывками объясняла про судьбу и долг. Квартиру готовили заранее: мебель сдвинута к стенам, окна затянуты чёрной строительной плёнкой на армированном скотче, зеркало в прихожей завешено серым пледом, вокруг ковра — граница из соли и пепла, местами уже стёртая. Помещение — под одну задачу, и задача была не бытовая. Тогда я решил, что имею дело с сектанткой или с человеком, у которого не всё в порядке с головой, и остался только потому, что за полчаса до этого она сказала мне три вещи обо мне самом. Их не мог знать никто, кроме меня. Даже сейчас, посреди этого ада, в глубине черепа привычно включилось то, что четыре года разбирало чужой бизнес на процессы и узкие места: *возражение снято, объяснение получено постфактум, движемся дальше*.

Только дальше было вот что: она резала себе вены. Не один раз — снова и снова, тонким изогнутым лезвием из деревянной шкатулки с вырезанными на крышке символами. И каждый раз она срезала новую полосу кожи на запястье и подносила руку к моим губам. Я считал порезы. Третий. Четвёртый. На шестом сбился и начал заново: сбиться было можно, бросить — нет.

— Пей, — говорила она. — Пожалуйста, пей, не останавливайся.

Выбора у тела не было — это я установил с двух попыток и больше на тело не рассчитывал. Право решать у меня отобрали. Право напоминать — нет. Хуже всего было не принуждение извне, а то, как послушно сдалось собственное тело, — и это я тоже отметил. Кровь была густой и горячей и первые секунды вызвала рвотный рефлекс, как и положено, — а потом полярность сменилась, и вкус стал... необходимым. Я сам тянулся к её руке и обгонял её движение — и с ужасом осознал, что мне *мало*. Этот голод не принадлежал мне, но выполнялся моими мышцами. Я разложил так: голод — чужой, мышцы — мои. От этого мутило — но мутило тело, а тело я уже списал.

— Хорошо, — прошептала Дарина. Её взгляд скользнул по моему лицу: зрачки у меня расширились и почти съели радужку, кожа на скулах натянулась и посерела, а под нижней губой тонко налились тёмным капилляры. Она видела, как ломаются черты и сквозь человека проступает чужая маска. Голос у неё слабел с каждой минутой: ровный взрослый тон, которым она говорила со мной весь вечер, уходил, и вместо него оставался тонкий, почти детский. — Хорошо. Получается.

— Что получается? Дарина, что происходит?

Она не ответила сразу. Достала из той же шкатулки истрёпанный лист пергамента. Лист был исписан строчками на языке, которого я не знал, — не кириллица, не латиница, завитки пополам с острыми углами. Она зажала его между пальцев, мокрых от крови, и начала читать вслух. Слова царапали слух: Дарина извлекала звуки не на выдохе, а на вдохе, сухие гортанные щелчки вперемешку с низким гулом, — и читала гладко, монотонно, явно не в первый раз.

Свечи по всей комнате разом вспыхнули столбом пламени, столб на секунду лизнул потолок — и все погасли. Комната ушла в темноту, но я, к своему ужасу, продолжал видеть. Не хуже, чем при свете. Лучше. Я видел трещину в штукатурке над окном, которую раньше не замечал. Видел пыль: она медленно оседала на пол в темноте, и для моих новых глаз это уже не была темнота. Видел лицо Дарины — теперь совсем близко, потому что она подалась вперёд и прижалась лбом к моему лбу, — и видел, как под кожей у неё на висках проступают синие нити вен: кровь уходила в глубину и назад не шла. Даже сквозь этот ужас я раскладывал всё по полочкам — не помимо воли, а ею: голова одна во всей комнате ещё слушалась меня, — и вывод получался один: так быстро быть не должно. Что бы это ни было, оно шло не постепенно, а рывком: в меня вливали разом целую лестницу этажей и не спрашивали, выдержат ли перекрытия.

— Дарина, — сказал я, и голос у меня самого прозвучал странно — ниже, глубже, чужой. — Дарина, тебе плохо. Хватит. Останови это.

— Не могу. — Она попыталась засмеяться, вышло похоже на всхлип. — Это так работает. Начала — значит, до конца.

— До какого конца?

Она подняла на меня глаза. Тёмные, почти чёрные — но я, кажется, впервые за вечер увидел в них не заученную уверенность, с которой она вела разговор, а страх. Обычный, до костей человеческий: нижняя губа у неё дрогнула, и она прикусила её, чтобы не дрожала. Вся её решимость, выходит, держалась на честном слове до этой самой секунды, а теперь слово кончилось.

— До моего, — сказала она просто.

И в этот момент я понял — не умом, ниже, — что она не спасает меня. Она тратит последние минуты своей жизни на меня — и то, что она делает, останется со мной после того, как её не станет.

Хватка у неё за последние минуты ослабла до почти незаметной — держать меня было уже нечем, физически я был свободен, — но моё собственное тело не желало отпускать её руку. Команду отпрянуть я отдал трижды; трижды она ушла в пустоту. Четвёртый раз отдавать

не стал: внимание было последним, что у меня оставалось. Рот сам тянулся к новому порезу на её предплечье. Я смотрел. Порез — по новому счёту четвёртый. Её пульс под моей ладонью я тоже считал: он редел. Сколько ей оставалось при таком расходе, я прикинул — и результат себе не назвал.

— Всё правильно, — выдохнула она мне в висок. — Так и должно. Не борись, просто... прими.

— Что я приму? Кем я стану?

— С собой. — Она вдруг улыбнулась — на этот раз целиком, обоими уголками, тепло, без усталости. — Просто больше себя, чем ты был. Я видела.

— Что ты видела?

Её пальцы слабели, но всё же сжали мою ладонь.

— Как ты рвёшь его на части, — выдохнула она одними губами. Зрачки её подёрнулись мутной плёнкой, но пальцы вцепились в меня так, что ногти вошли мне в ладонь: такой силы в этой руке не было весь вечер, и взять её было уже неоткуда. — Не знаю, хорошо это или плохо. Но это единственная надежда, которая у меня была.

Я хотел спросить, кого — «его». Хотел заставить её говорить, потребовать объяснений, но слова застряли в горле: с последним глотком в меня хлынуло тяжёлое, ледяное, старше меня на века — будто в вены закачали ртуть. Мозг, привыкший к задачам с понятным условием, просто захлебнулся. Мир вокруг не погас — он раскрылся на тысячу подробностей разом: я услышал, как в метре от нас остывает пролитый на пол воск, как за сотни метров, на проспекте, резина шуршит по влажному асфальту, и как в груди Дарины с сухим щелчком встаёт последний цикл. Щелчок был один. Второго не было.

Её рука сползла с моего запястья и легла на ковёр ладонью вверх. Тишина стала полной: ни воска, ни проспекта, ни дыхания — только звон в ушах. И в этой тишине моё собственное сердце сделало первый удар — гулкий и такой медленный, что между ним и вторым уместилась целая мысль: будет ли второй.

Порез на её предплечье больше не сочился — качать было уже нечем. Я отстранился, резко, с запоздалым животным ужасом, и смотрел на её застывшее лицо: темнота мне больше не мешала.

Только сейчас с памяти начала спадать пелена, и всплыли отдельные кадры: случайные встречи, взгляды в толпе, тени в метро, которые рассудок годами списывал на усталость. Я вспомнил её лицо — не из этого вечера, а из случайной встречи несколько недель назад: мы столкнулись на улице, и я тогда тут же нашёл этому объяснение, чтобы не думать. Тогда она казалась просто бледной прохожей. Теперь эта бледность стала другой. Восковой, без возврата. Губы посинели, под глазами залегли провалы, скулы обнажили контур черепа.

Дарина была мертва. Не «умирала» — уже умерла, прямо здесь, у меня на коленях, и отдала мне буквально всю себя до последней капли. И эта чужая кровь больше не была чужой: она шла во мне кругом и на каждом круге делала меня другим.

— Дарина, — сказал я один раз, ровно, как говорят в трубку, пока не уверен, что связь оборвалась.

Она не ответила. Два пальца к её шее, туда, где полминуты назад ещё был пульс, — и держать дольше, чем нужно: не потому что надеялся, а потому что хотел знать наверняка. Ничего. Проверено. Слово я себе не смягчал.

Меня вырвало. Резко, без всякого сигнала — согнуло пополам, и по полу разошлась ещё одна лужа, тоже тёмная, но на этот раз не кровь, а то небольшое, что было у меня в желудке до того, как начался этот вечер. Зубы стучали, и сквозь панику я отчётливо ощутил *голод* — не тот, что бывает после обеда, который пропустил, а другой, старше меня самого: он шёл не из желудка, а из каждой клетки разом, и требовал именно того, что только что вышло из меня

рвотой. Второй пункт, отметил я между двумя спазмами: голод. Чего он хочет — ясно. Что с этим делать — нет; первая за вечер задача, у которой хотя бы понятно условие.

Спиной вперёд я отполз от тела на карачках, упёрся в стену и попытался дышать. Не помогало: лёгкие делали вид, что работают, — нужды в этом больше не было. Два пальца к собственной шее, поиск пульса — не сразу, а когда всё же нашёл, он оказался таким редким и тихим, что я сначала принял его за отголосок страха, а не за сердце.

«Так, — сказал я себе тем голосом, которым четыре года назад успокаивал себя перед защитой диплома, а потом — целые команды перед сложными релизами. Голос умел одно — разложить всё, что случилось, на то, что известно, и то, что нет, — и я его запустил. — Так. Что мы имеем».

Мёртвая девушка на полу съёмной квартиры, и последний, кто видел её живой, — я. Чужая кровь на губах и, судя по венам, внутри. Тело, которое дышит только по привычке и хочет крови. Это слово я произнёс про себя целиком: с эвфемизмами картина не сходится. Слово «вампир» в неё не пошло: оно ничего не объясняло.

Рука перед глазами выглядела чужой: вены проступали не блёклыми синеватыми дорожками, а резкими линиями глубокого индиго, словно выведенными тушью от запястья до локтя. Язык машинально скользнул по верхним зубам: резцы стали острее, плотнее и длиннее — ещё не клыки хищника, но уже не то, с чем я прожил двадцать пять лет.

В чёрной плёнке на окне — глянцевой, как выключенный экран, — на секунду проступило моё отражение. Лицо то же, что и всегда, те же тёмные волосы, давно просившие стрижки. Только глаза были не совсем моими: не другого цвета, просто с едва заметной искрой там, где раньше в зрачке была одна темнота. Я смотрел ровно столько, сколько нужно, чтобы решить: лицо моё, глаза — под вопросом. Остальное отложил.

— Раз. Два. Три, — сказал я вслух, чтобы проверить голос, и осёкся: звук годился кому угодно, только не мне — ниже, с обертонами, которых там не было ещё час назад. Он испугал меня едва ли не больше, чем труп на полу в двух метрах. Запомнил.

Сколько я просидел так, спиной к стене, не знаю: пятно на ковре росло медленнее, чем должно. Минуту. Может, десять. За это время я понял про себя одну вещь: если я перестану считать, я закричу, а после этого меня уже ничто не соберёт. Значит — считать. И первое — не что есть, а что делать: выяснить, что она со мной сделала и зачем. «Как ты рвёшь его на части» — она говорила о ком-то конкретном и умерла, чтобы это сказать. И второе: то, что она в меня влила, никому не отдавать, пока не пойму, что это. Кому «никому» — я не знал. Но квартиру с солью по периметру не готовят для того, о чём никто не узнает.

* * *

А потом снаружи, на лестничной клетке, послышались шаги.

Не одни. Я считал: четверо, пятеро — шаг в шаг, слишком тихие для людей, которые не старались быть тихими специально. Новый слух различал вес каждого в половицах и обрывки короткого злого шёпота — по-русски, без акцента, тоном, которым не говорят, а отдают приказы. Значит, есть кому приказывать. Значит, есть главный.

Входная дверь на тяжёлом тройном засове и цепочке не выдержала третьей секунды. Её не выламывали: от одного удара металл запоров срезало, как фольгу, и полотно вместе с коробкой рухнуло внутрь прихожей. В проёме, на фоне тусклого света лестничной клетки, возникли силуэты — четыре, может, пять. Я пересчитал: пятеро. Все в тёмных пальто с высокими воротниками, серебряным шитьём по кайме и одинаковыми зажимами на лацканах — узкий вычерченный полумесяц, один на всех. Форма. Значит, устав; значит, есть кто его читает.

Первый из них переступил обломки косяка. Я, всё ещё на полу у стены, поднял голову. Наши взгляды сцепились сразу. Его глаза в полумраке не отражали свет — поглощали. Холодные, без тени удивления — взгляд не гостя, а приёмщика. Он не глядел на выбитую дверь, не глядел на тело Дарины — он смотрел прямо в меня и снимал каждую деталь, все до одной: рас-

ширенные зрачки, налитые вены цвета индиго, кровь на моих губах. По затылку прошёл холод — тело узнало то, чего голова ещё не знала. Я не отвёл глаз. Раз он считывал меня, я считывал его: остальные четверо не переступили порога, пока не переступил он. Главный — этот.

Он молчал и смотрел, и злости в этом не было — только сухой расчёт и власть. Это была не полиция, не спасатели и не скорая. Это пришли за тем, что Дарина только что передала мне ценой собственной жизни.

Это пришли за тем, что здесь только что случилось.

Глава 2 Дом, который его не звал

Меня подняли с пола раньше, чем я решил, стоит ли сопротивляться.

Чьи-то руки — сухие, твёрдые, одни сухожилия — взяли меня под мышки и рванули вверх одним движением: ни окрика, ни слова. Я попытался вырваться чисто рефлекторно, наугад махнул локтем назад — и ударил в пустоту, потому что человек, который меня держал, сдвинулся, пока локоть ещё шёл. Не увернулся. Именно сдвинулся: знал, куда я ударю, — знал прежде, чем понял я сам.

Это я учёл. Двадцать минут назад я перестал быть человеком — и всё равно оказался слабее всех в этой комнате, настолько, что меня можно было поднять и вынести, как коробку. Слабее всех — это замер, а не приговор. Замер я принял. С коробкой не согласился.

— Тихо, — сказал голос у самого уха. Не грубо. Скорее устало, буднично — как говорят охраннику стажёру, чтобы не мешался. — Дёргаться будешь позже, если разрешат.

Мне на голову набросили капюшон из плотной ткани, и мир схлопнулся до звуков. Тело Дарины осталось за спиной, на полу, в квартире, которую я больше не увижу, и от этой мысли внутри оборвалось резче, чем от капюшона.

Дальше я считал. Лестница, пролёт за пролётом. Двое держат за плечи, чтобы я не упал, хотя ноги у меня в общем-то работали; ещё шаги впереди и сзади — пятеро, как в проёме. Сходится. Улица — мокрый асфальт, выхлоп, до слёз отчётливо. Дверь, бензин — салон. Меня усадили, не грубо, но и без вопросов, пристегнули — пристегнули! — и машина тронулась.

Я сидел в глухом капюшоне в чужой машине, пристёгнут ремнём — вежливым похитителем, — и эта деталь показалась мне сначала отдельно, персонально абсурдной. А потом — полезной: пристёгивают то, что не хотят повредить по дороге. До места я был нужен целым. Этот вывод нравился мне больше предыдущего.

Ехали минут двадцать, может, тридцать. Я запоминал маршрут — секунды разгона, затяжные дуги поворотов, провалы на съездах: три длинных правых, два левых, потом долго прямо. Новая физиология сбивала счёт, и я начинал заново. Сквозь закрытые стёкла долетал город, а под ним — частый стук сотен пульсов — люди на перекрёстках; из воздуховода тянуло живой кровью, и в горле пересыхало. Москва за стеклом жила обычной ночью — сигналы, тормоза у светофоров, музыка из соседней машины, — а в паре метров от неё, в общем потоке, сидел труп, который забыл упасть.

Никто не произнёс ни слова за всю дорогу. Я тоже молчал, и это было решение, а не смирение. Вопрос показал бы им, чего я не знаю, — а не знал я всего, — и не принёс бы ответа: те, кто пристёгивает молча, отвечают не перед пассажиром. Молчание стоило дешевле. Цена — доехать вслепую; её я платил в любом случае.

Мысли шли к Дарине, и здесь картина выходила хуже всего — не потому, что фактов не хватало, а потому, что они мне не нравились. Она меня не спасала. Она влила в меня чужую силу под завязку, переписала меня изнутри и стёрла себя до нуля. Ни инструкции, ни ключей она не оставила. Итог: я — сейф, в который спрятали украденное перед тем, как хозяйку убьют. А те, кто вёз меня сейчас в тишине кожаного салона, ехали этот сейф вскрывать. Вопрос «зачем» я отложил: в этой машине на него не было ответа, а вопросов с ответами хватало.

Гул асфальта сменился сухим хрустом гравия под колёсами, и машина сбавила ход. Снаружи проскрежетали и сомкнулись ворота: железо, тяжёлые створки, скрежет долгий — сначала одна, потом вторая. Конвоир справа от меня впервые пошевелился: два холодных пальца на секунду легли мне на сонную артерию — пульс. Сохранность груза — подтверждено.

— Приехали, — сказал он водителю и повернулся ко мне: — Лишних движений не делай. В глаза Дамиану Саввичу не смотри, пока сам не разрешит.

Имя я запомнил — всё, что мне выдали за дорогу. Тот, кому нельзя смотреть в глаза, и есть тот, кто решает.

Машина встала. Меня вывели — снова те же руки, сухие, без промаха, — провели по гравии — он ехал под ногами, — потом вверх по ступеням, и наконец сняли капюшон.

Первое, что я увидел, — фасад. Три этажа, колонны, лепнина над окнами — и всё это умирало. Строительная сетка по фасаду висела не один сезон и порвалась понизу; в одном крыле окна забиты досками; водосток держался на куске ржавой проволоки. С чужой кровью на подбородке я принял это как условие задачи, а не как впечатление: не резиденция клана на пике, а компания — в прошлом лидер рынка, теперь тянет с ремонтом офиса.

— Внутрь. — Тот же усталый голос сзади, и меня подтолкнули к дверям — мягко, но так, что варианта пойти в другую сторону не было.

Внутри пахло пылью, воском и — на самом дне — засохшей кровью. Высокие потолки, рассохшийся паркет, портреты в тяжёлых рамах, под частью из них — зеркала, завешенные тканью. Меня провели через анфиладу комнат в зал, где ждали, и на пороге тихий гул оборвался разом — так замолкают, когда входит тот, о ком говорили.

Их было одиннадцать. Я пересчитал дважды: эту работу мне здесь никто не мог запретить. После шумной улицы по новым рецепторам ударил ритм чужих сердец — редкий, сбивчивый: удар, пауза, за которую я успевал досчитать до трёх, ещё удар, будто сердце вспоминало через раз, что ему положено биться. Разного возраста — лицами, по крайней мере, — они стояли без единого случайного движения и смотрели на меня кто с безразличностью, кто с тем расчётом, с каким смотрят на чужую ошибку, за которую платить, возможно, придётся всем. Я разглядывал их в ответ. Кто главный — не читалось: никто не стоял в центре, все одиннадцать стояли вполоборота к пустому месту у дальних дверей. Значит, главный ещё не вошёл.

— Это он. — Женщина лет сорока на вид, в строгом тёмном платье, сказала это не мне, а куда-то в сторону остальных, будто меня самого тут не было. — Обращённый чужой кровью. Без рода, без прецедента.

— Он здесь, — сказал я. — На случай, если это учитывается.

Никто не повернулся. Это тоже была информация.

— Прецедент есть. — Другой голос, старческий, с трещиной, негромкий: поверх него никто говорить не стал. Из группы вышел грузный старик — по виду глубоко за семьдесят, хотя в этом доме такие оценки, похоже, ничего не стоили, — с тяжёлым, грубо вытесанным лицом и слегка выцветшими глазами — внимательными: они считали меня, пока я считал зал. — Прецедента в смысле закона нет. А в смысле факта — вот он стоит перед нами. Факт всегда старше закона, Регина Аркадьевна, сколько бы вы ни хотели обратного.

— Агафон Захарович, при всём уважении к архивам, дому сейчас не факты нужны, а то, чем мы будем расплачиваться, если Двор узнает, что закон нарушен у нас под носом.

Старик — Агафон Захарович, значит, — подошёл ближе и обошёл меня по кругу медленно, шагом эксперта перед находкой: подлинник или подделка. Я смотрел на него в ответ. Один на весь зал подошёл ближе двух шагов, и он же один сказал «факт» там, где остальные говорили «закон». Если здесь кому-то я был нужен живым, начинать стоило с него.

— Кто тебя обратил? — Он смотрел мне прямо в глаза.

— Дарина. — Голос дрогнул на её имени. Слышали все одиннадцать, скрывать было поздно; дрожь я принял к сведению и больше на неё не тратился. — Она... она умерла. В процессе.

По залу прошла рябь — не крик, не возглас: десяток людей разом сменил дыхание, и это было тише крика и хуже.

— Она мертва, — повторил кто-то из глубины зала.

— Одна из последних прямых наследниц, что у нас ещё оставались, — сказала женщина в тёмном платье. Безразличности в ней больше не было. Был страх: руки она сцепила перед собой,

и пальцы не лежали на месте. Страх я взял на заметку — первое в этом доме, что годилось в дело.

— Она сама решила. — Злость поднялась раньше, чем я успел её посчитать, и считать я не стал. — Никто её не заставлял. Она резала себе вены сама, снова и снова, пока...

— Замолчи, — сказала ещё одна женщина, помоложе, и лицо у неё при этом не двигалось. — Ты не имеешь права даже произносить, что она решила. Ты — недоразумение, залатанное чужой кровью через закон, который она нарушила ради тебя, кем бы ты ни был.

Агафон Захарович поднял руку — не резко, просто поднял, — и в зале снова стало тихо.

— Он не виноват в том, что произошло. Виновата она, если уж на то пошло, — или, если угодно, виновата система, которая довела прямую наследницу правящей линии до того, что она сочла обращение постороннего своим единственным выходом. Но это уже вопрос не к нему.

— Он всё равно то, чем дом не может себе позволить рисковать, — сказала женщина в платье. — Обращать можно только рождённых. Стоит этому выйти за наши стены — и мы заплатим не штрафом, а всем, что от нас ещё осталось. Он вообще никто — просто человек с улицы, которого она подобрала неизвестно где и зачем.

Меня царапнуло это «неизвестно где и зачем» сильнее, чем всё остальное сказанное в этом зале, — потому что я и сам толком не знал ответа, а «неизвестно где» на деле имело точный адрес: тротуар у магазина, ночью, несколько недель назад.

Она шла по тёмной улице от метро — быстро, шагом загнанного зверя, и то и дело поглядывала на экран телефона. Я вышел из круглосуточного с пакетом, в котором звенели две бутылки пива, повернул к подъезду — в голове ещё крутилась работа — и не заметил её. Мы столкнулись плечами. Пакет порвался, бутылки с глухим звоном покатались по стылому асфальту.

— Простите, — сказал я и присел за бутылкой. — Не рассчитал траекторию.

Она не выругалась и не пошла дальше. Она машинально помогла мне перехватить упавшую бутылку, и пальцы у неё были ледяными.

Когда я поднял голову, она смотрела на меня в упор — не со злостью пешехода, а с отчаянной оценкой человека, который выбирает в толпе, кому передать дело, потому что сам до конца его не доведёт. Зрачки у неё расширились во всю радужку.

— Ничего, — шепнула она. Голос звенел от напряжения. — Бывает.

Я тогда списал всё на стресс жителя мегаполиса, буркнул дежурное «всего доброго» и пошёл дальше. Обычный вечер, погрешность в статистике на миллионы ночных прохожих. Но там, на тротуаре, случайный прохожий стал единственным сосудом для крови, за которую в этом особняке готовы перегрызть глотки. «Где» я, выходит, знал. «Зачем» — отложенное в машине — стояло на месте.

— Он не человек с улицы, — сказал Агафон Захарович, и я рывком вернулся в зал. — Он теперь один из нас, нравится нам это или нет. Вопрос, что с этим делать, — не вопрос закона в чистом виде. Это вопрос политики. А политика в этом доме решается не советом старейшин.

Тяжёлые двери в дальнем конце зала разошлись на обе створки; все взгляды сместились туда, и разговоры стихли ещё быстрее, чем при моём появлении.

Вошедший был высок — под метр девяносто, — но не пользовался этим ни на грамм. Сухопарый, с тяжёлой посадкой плеч; двигался он скупно — отвык делать лишнее. Тёмный костюм сидел на нём без единой складки: либо очень хороший портной, либо очень давняя привычка. И каждый в зале — и Агафон Захарович, и женщина в платье — чуть подобрался, чуть сместил вес, как будто в комнату впустили не человека, а понижение давления перед грозой.

Он шёл к нам без спешки и смотрел только на меня. Запоздало всплыли слова конвоира — «в глаза ему не смотри», — я их взвесил и не выполнил: кто опускает глаза раньше, чем велели, уже согласился быть грузом. Чужая кровь внутри решила то же без расчёта — замерла,

как замирают перед тем, кто сильнее. Смотрел он без злости и без любопытства — так смотрят на задачу, которую принесли на стол; человека в этом взгляде не было.

— Дамиан Саввич, — тихо сказал кто-то за моей спиной, тоном, каким называют не имя, а диагноз.

В паре шагов от меня он остановился, и чужая кровь в моих венах отозвалась на его близость спазмом, резким до боли: узнала угрозу раньше меня. Ни один мускул на его лице при этом не дрогнул.

— Значит, вот что осталось от дочери Никиты Владимировича. — Голос ровный, светский, без единого нажима — и это пугало сильнее прямой угрозы. — Случайный сосуд для наследия правящей линии.

— Меня зовут Арсений. — Не потому что это могло что-то изменить. Потому что на «сосуд» я откликаться не собирался.

Уголок его губ едва заметно дрогнул — не улыбка, скорее её призрак.

— Мне это неинтересно. Меня интересует, что мне теперь с тобой делать.

К старейшинам он повернулся — коротко, одним движением, — и зал снова замер: все разом затаили дыхание.

— Я услышал достаточно. И у меня уже есть решение.

Глава 3 Пробуждение Хищника

— Я не буду тебя убивать, — сказал Дамиан Саввич. — Пока не буду.

Голос у него не сдвинулся ни на полтона. Этот тон я знал по четырём годам планёрок: регламент читают с листа, человек озвучивает пункт, а не решает его. Только в этом пункте стояло, жить мне или нет. За его спиной старейшины сидели молча — ни один стул не скрипнул, никто не кашлянул. От этой неподвижности у меня свело плечи; крик я перенёс бы легче.

— Прецедента нет, — продолжил он. — Значит, мы его создадим сами, на моих условиях. Если твоё тело выдержит первое испытание дома — Пробуждение Хищника, — ты останешься. Рядовым. На самой нижней ступени, без права голоса, без покровительства. Просто ещё одна пара рук в доме, который в них отчаянно нуждается. Если не выдержит — вопрос решится сам собой, и мне не придётся марать руки твоей смертью официально.

— А если я откажусь? — Я и сам слышал, как глупо звучит этот вопрос из моего положения.

Уголок рта у него дёрнулся — на полсекунды, не дольше, второй раз за ночь: первый был в зале, когда я назвал своё имя. Улыбкой это не стало и теперь; лицо разгладилось.

— Ты уже не откажешься. Ты умер в глазах человеческого мира ещё до того, как переступил порог этого дома. Отказаться тебе попросту некуда.

Что он имел в виду, я не понял. Угроза общего вида, решил я: на планёрках такие проносят для веса, и я давно научился их пропускать. Эту пропустил тоже — а он говорил буквально, и насколько, мне покажут после испытания, на бумаге.

Меня заперли на третьем этаже. Комната была маленькая: три шага от двери до окна, на окне решётка, кровать застелена туго, без единой складки. На этом этаже когда-то жила прислуга, не семья. Сколько ждать, никто не сказал. Я просидел на этой кровати то ли сутки, то ли двое. От еды я бы отказался, но её никто и не предлагал. Всё это время я прокручивал последний час жизни Дарины, раз за разом, пока не поймал себя на одном: я уже не помнил, вздрагивала ли она перед смертью, или сам дорисовал эту деталь, чтобы не быть просто свидетелем, который ничего не смог.

Голод пришёл на второй день. Не прежний, из человеческой жизни, — новый: он шёл откуда-то из позвоночника и требовал, а не просил. стакан поставили на пол у двери и ушли, не сказав ни слова. В стакане было тёмное и густое. Я знал, что это. Знал — и всё равно долго сидел над ним, прежде чем заставил себя выпить. Аналитик во мне тем временем составлял список вопросов без ответов и расставлял их по приоритету: другого занятия, которое давало бы хоть видимость контроля, у меня не было. Пункт первый — что это за испытание. Пункт второй — откуда у меня ощущение, что вопрос моего выживания уже решён, и решён не полностью в мою пользу.

На рассвете третьего дня за мной пришли. Рассвет я определил по узкой полосе света: она вползла в комнату через щель между шторами и решёткой, легла мне на руку, и кожу под ней сразу заломило до тошноты.

Двор оказался внутренним: со всех четырёх сторон его закрывали стены особняка. Квадрат брусчатки, тёмной от старости, шагов тридцать на тридцать; посередине сухой фонтан — воду из него вычерпали давно, на дне чаши лежали прошлогодние листья. Меня привели туда ещё затемно, но небо на востоке уже серело. Всю жизнь я читал такую серость как обещание нового дня. Теперь она читалась как обратный отсчёт.

Старейшины расселись вдоль одной из стен. Стулья принесли специально, пальто застёгнуты наглухо — так сидят на официальном мероприятии, а не на проверке, выживу ли я в ближайшие полчаса. Агафон Захарович сидел с краю, руки сцеплены на коленях, и смотрел на меня так же, как в первую ночь: не оценивал, а изучал. Регина Аркадьевна держала на коленях

блокнот, уже раскрытый: исход она собиралась записать, каким бы он ни вышел. Дамиан не сел вовсе. Он стоял у противоположной стены, в тени, руки скрещены на груди. Любой исход его устраивал, и по лицу это было видно.

— Правила простые, — сказал мужчина. Мне его не представили: крепкий, стрижен коротко, тёмная рубашка, рукава закатаны до локтя, на предплечьях — шрамы, старые, побелевшие. — Ты продержишься против меня до тех пор, пока солнце не встанет полностью над той стеной. — Он кивнул на восточную стену двора. Стена ещё лежала в тени, но по верхнему краю уже наметилась раскалённая каёмка. — Устоишь на ногах, останешься в сознании — считается, что тело выдержало. Проиграешь мне раньше — тоже не смертельно, если успеешь сдаться и уйти в тень. Но чем дольше ты продержишься, тем больше света успеет тебя коснуться, пока ты будешь драться, а не убегать. Так что выбирай сам, чего ты боишься больше — меня или солнца.

— Это что, изощрённая метафора моего испытательного срока? — Та часть меня, что стояла в стороне и оставалась спокойной до отвращения, отметила: юмор в такой момент — либо признак здравого рассудка, либо первый симптом того, что рассудок меня покинул.

Мужчина не улыбнулся.

— Начали.

Первый удар я пропустил целиком. Ни замаха, ни смещения плеч — боец просто пропал из фокуса, и в правое подреберье вошёл кулак, а за кулаком весь его вес, чугунный. Кость под ним треснула, сухо и отчётливо. Меня снесло с ног, двор провернулся, и я приложился спиной о брусчатку — плашмя, всей длиной. Мозг по привычке скомандовал лёгким вдохнуть. Лёгкие не работали: воздух новому телу был не нужен, а сломанные рёбра не давали грудной клетке сдвинуться ни на сантиметр. У стены скрипнул по камню стул — кто-то из старейшин переменял позу.

— Вставай, — сказал он без злобы, ровно констатируя факт. — Свет не ждёт.

Встал я со второй попытки; на первой ладонь съехала по брусчатке. Справа под кожей что-то двигалось. Чужая кровь уже добралась до перелома и тянула обломки рёбер друг к другу — вслепую, по живому, без наркоза и без порядка. Материал она брала из меня же: стянула миллиметр кости — в желудке дёрнуло голодом ровно на столько же. Чинить меня было нечем, кроме меня самого.

Потом он бил меня три минуты подряд. Драться я не умел, зато умел смотреть на повторяющийся процесс, и процесс здесь был: полтора шага до меня, пауза на выбор цели — секунда, не больше, — и выпад всем телом. Менялось только место, куда он попадал. Каждую цель я видел заранее — челюсть, солнечное сплетение, бедро, — а руки поднимались на полсекунды позже, чем надо: сигнал от глаз до них шёл медленнее, чем шёл он. Челюсть щёлкнула, зубы сомкнулись на языке, рот залило собственной кровью. От удара в бедро ногу отбросило назад, я поехал по камню и чуть не сел. За каждый пропущенный удар тело платило кровью: она уходила на починку граммами, и ни один грамм назад не возвращался. Тень у стены за эти три минуты стала уже на ширину ладони.

Первый прямой луч зацепил левое плечо, когда я в очередной раз отлетел от его удара. Боль была не от жара. Плечо ело — кислотой, плеснутой на голую мышцу, едко и до самой кости, и края у этого не находилось. Рубашка на плече истлела за секунду. Под ней вздулся волдырь, чёрный, с пятак, и запахло палёным мясом — от меня самого. Одно я успел заметить: рёбра кровь чинила с первой минуты, а под волдырь не шла совсем. Солнце не просто жгло — там, куда оно попало, клетки замолкали.

— Ещё немного, — сказал боец. Он отступил на полшага — не из милосердия: он давал боли время дойти до меня в полную силу. — Или сдавайся сейчас, в тень, пока свет тебя не добрал целиком.

Я оглянулся на восточную стену. Каёмка по верху кладки стала клином, и клин полз вниз по камням, ряд за рядом, а у подножия стены на брусчатке уже лежала первая жёлтая полоса, шириной в ступню. Минут пять. Может, семь. Потом свет накроет двор целиком.

Сдавайся. Это говорила та часть меня, которая считала риски, — четыре года я строил на ней карьеру, на умении остановиться за шаг до провала. Живой я дойду до следующего испытания, мёртвый не дойду ни до какого. Спорило с ней другое — то, что три дня молчало в запертой комнате и помнило Дарину: лезвие, вены, надрез за надрезом, и что она не остановилась, пока из неё не вышла последняя капля. Шага назад, в тень, я не сделал.

— Нет. — Голос сорвался на середине слова.

Боец пожал плечами — моё решение его не удивило и, похоже, не слишком интересовало — и снова пошёл в атаку.

Выпад пошёл не прямо, а по дуге — короткий хук слева, в висок. Такой удар с такой массой за ним проламывает кость, и я понимал это раньше, чем кулак начал движение, — как и то, что блок опоздает. Дальше я ничего не решал: расчёт и паника сошлись в одной точке, и тело сделало остальное без меня. Внутри коротко щёлкнуло, будто лопнул поводок. Всё, что во мне ещё оставалось, ушло в один бросок. Кровь в жилах разом стала горячей и хлынула в ноги — её кровь, не моя. Перед глазами на миг стало красно.

Двор смазлся. Я оказался в трёх метрах от места, где стоял, раньше, чем понял, что двинулся, — и не там, куда целился: ноги проехали по брусчатке, и я едва удержался. Кулак бойца прошёл там, где секунду назад была моя голова, — я услышал, как он рассёк воздух. И сразу внутри стало пусто. Из меня выкачали не воздух — саму способность стоять. Колени подогнулись. Голод, который весь день тлел на краю, взорвался: он требовал сейчас же и заглушал всё остальное. В глазах зашипало, изнутри, горячим. Себя я не видел, зато видел бойца: он дёрнулся, и полшага назад в этот раз сделал не по расчёту. От моего лица.

— Вот оно, — сказали за моей спиной, негромко. По голосу — Агафон Захарович; обернуться и проверить, стоя в двух шагах от бойца, я не мог. — Рывок. Без обучения, без подготовки — сам прорвался. Глаза-то как вспыхнули.

Боец остановился и чуть склонил голову набок. Теперь он смотрел на меня иначе — прикидывал заново.

— Быстро. Грязно, но быстро.

Пока меня оценивали, клин света дошёл до середины двора, до края сухого фонтана, и по этому краю я прикинул, где стою: граница тени где-то за спиной, шаг, может, два, дальше свет возьмёт меня целиком. Меня водило из стороны в сторону. У стены Регина Аркадьевна впервые за утро что-то записала в блокнот.

— Заканчиваем, — сказал боец. — Ты продержался. Дольше, чем я рассчитывал, если честно.

Но отступить было некуда. Я чувствовал это спиной, не оборачиваясь: тень стены кончалась на полметра раньше, чем я считал. Первый же шаг назад вывел плечо под утренний свет.

Боль пришла раньше, чем я успел отдёрнуться. Не в одном месте, как в первый раз, — по всей спине сразу, от лопаток до поясницы; так обваривает кипяток, вылитый одним движением. Рубашка на спине задымилась. Я упал на колени. И тогда из той же глубины, где секунду назад родился рывок, снова поднялась чужая сила, та, что досталась мне с кровью, — слабее, второй раз кровь горела уже неохотно, — но её хватило: тело рвануло последним броском в тень у самой стены, туда, где утро ещё не дошло до камня.

В тень я упал лицом вниз, на холодную брусчатку, и остался лежать. Кожа на спине стягивалась рывками, спазм за спазмом: чужая кровь заращивала обугленное, и каждый спазм я чувствовал отдельно. У этой починки была своя цена. Внутри сразу стало пусто и холодно, до озноба: заживление выпило резерв до дна. Ни на один рывок, ни на полшага — ничего не осталось.

Голод ударил в затылок и стал там пульсировать, в такт чужим шагам по камню. Дёсны заныли, глубоко и тупо. В нос ударил запах чужой крови, тёплой — бойца в трёх шагах, старейшин у стены, всего живого во дворе, — и от этого запаха сводило челюсть. Дыхание, которое мне больше не было нужно, сбилось. Остаток разума считал: до ближайшего горла три шага, и тело было готово их сделать. Я держал его тем, что осталось.

— Тело выдержало. — Боец смотрел не на меня, а поверх моей головы, в сторону старейшин.

— Едва, — отозвался Агафон Захарович, поднимаясь со стула. — Но выдержало. Увидите его с солнца и дайте напиться, пока он окончательно не сорвался в безумие.

Меня подняли — бережнее, чем в ночь похищения, — и уволокли вглубь коридоров, прочь от света. Ещё до того, как усадили на стул, мне сунули в руки тяжёлый гранёный стакан, полный до краёв тёмной густой крови. Руки тряслись, и кровь плеснула через край на пальцы. Я вцепился в стакан раньше, чем включился рассудок, — жадно, по-животному, и стыдно мне за это стало только потом. Тело сработало быстрее мысли: кровь обожгла горло металлом, пожар в затылке погас с первого же глотка, и по венам пошло тепло, густое, от него плыла голова. Только когда стакан опустел, ко мне подошли с банкой мази — тёмной, пахнувшей горькими травами. Спину под мазью повело холодом, потом она онемела от лопаток до пояса, и боль ушла за минуту-другую — быстрее, чем я рассчитывал.

Поздравлять меня никто не стал. Один из старейшин поднялся и прочитал признание — официально, со скукой в голосе: «Арсений, не рождённый Дома Чёрной Луны, обращённый вне закона, прошедший испытание Пробуждения Хищника, признаётся низшим членом дома без права голоса». Регина Аркадьевна перенесла формулу в блокнот, головы при этом не подняла. На приём в семью это не походило. Скорее на акт о списании непригодного имущества, зачитанный вслух.

Дамиан задержался у выхода на секунду. Один взгляд в мою сторону, короткий, — бригадир в конце смены проверяет новичка: валился с ног, но не свалился. Ни досады, ни облегчения на его лице не было. Инструмент уцелел, регламент соблюдён. Формулу ещё дочитывали, когда он развернулся и вышел в коридор, не сказав ни слова.

Агафон Захарович уходил последним. Он подождал, пока комната опустеет, и молча положил передо мной на стол папку — тонкую, из серого картона, без надписи на обложке. Такие заводят на любое мелкое дело в любой конторе мира.

— Тебе стоит на это взглянуть. Прежде чем ты решишь, что где-то там, за нашими стенами, у тебя ещё осталась какая-то жизнь, в которую можно вернуться.

Внутри лежало немного: распечатка новостной заметки, две страницы протокола, ксерокопия бланка. Читал я медленно: часть мозга складывала буквы в слова ровно с той скоростью, с какой могла их выдержать, и ни на слово быстрее.

Заметка была короткая, три абзаца, с сайта одного из городских новостных агрегаторов. Тридцатилетний москвич вечером ушёл из дома и не вернулся; на третьи сутки дело закрыли. Версия следствия — несчастный случай на воде, тело не найдено, поиски прекращены «в связи с исчерпанием возможностей». Три дня. Столько понадобилось, чтобы вычеркнуть человека из города окончательно, — и я почти не сомневался, что такую скорость обеспечили не следователи.

Мне было двадцать пять, а не тридцать. Цифру вписали то ли по чужой небрежности, то ли нарочно: чтобы никто, кто станет искать совпадения, меня по ним не нашёл. Протокол — две страницы казённого текста, подпись следователя, которую я никогда не видел, — закрывал дело за отсутствием состава преступления. Бланк — ксерокопия заявления об увольнении по собственному желанию. Моё имя, компания, где я отработал четыре года. Внизу подпись, и подпись моя. Я её не ставил. Отличить её от настоящей не смог бы даже я.

— Это... — Второго слова не нашлось.

— Быстро, я понимаю. — Злорадства у Агафона Захаровича в голосе не было, ни капли. Тон наставника, который вскрывает нарыв без наркоза: с наркозом дольше. — Но у нашего Дома длинные руки и отлаженные протоколы. Твой человеческий след зачищен без права на восстановление. Родные уже смирились с фактом твоей гибели и скоро оформят свидетельство. Друзья вздохнули и выпили за упокой. На твоё рабочее место в понедельник выйдет другой человек. Тебя вычеркнули из реестра живых так чисто, словно ты был случайной опечаткой.

Я не отрывал глаз от бланка. Ручку вёл кто-то чужой, а рука вышла моя, до последнего завитка на заглавной букве. Пальцы на листе онемели. Это было хуже ожога на плече: ожог хотя бы сидел на коже, снаружи, а тут из-под меня вынули пол. Двадцать пять лет. Планы на год вперёд, ночи без сна перед сдачей, победы по работе, люди, без которых я не представлял себе недели, — всё это лежало передо мной стопкой казённой макулатуры толщиной в три миллиметра.

— Вы добиваете меня? — На эти три слова ушло больше сил, чем на подъём с брусчатки. Я смотрел ему в глаза, и они не менялись. — Чтобы я сломался окончательно?

— Наоборот, — сказал Агафон Захарович, поднимаясь. — Многие в твоём положении какое-то время живут иллюзией, что однажды смогут вернуться. Ломают не знание, что возвращаться некуда, — ломает надежда, которую слишком долго не отнимали. Отсюда и до конца это твой единственный дом. Чем раньше примешь, тем больше у тебя шансов.

Дверь за ним закрылась, и в комнате остались я, стакан и папка. На дне стакана подсыхала тёмная плёнка. В папке — четыре листа, по которым человека с моим именем больше не было. И ещё оставалась Дарина — не образ, а толчок в затылке, тот же, что весь день, только тише. До неё Дом дотянуться не мог: её смерть не подшивалась ни к какому протоколу, её кровь до сих пор гудела у меня в жилах, и живым меня оставила она. Она отдала всё не для того, чтобы я стал списанным инвентарём в руках Дамиана. Прошрое не просто закончилось — его профессионально стёрли, но в этой новой реальности у меня оставался долг, который ни один вампирский регламент не сможет закрыть за отсутствием состава преступления.

Глава 4 Даэлла

Две недели после испытания я провёл в основном на коленях. В буквальном смысле: дом раз в несколько дней отскребали от пыли, что лежала здесь годами, а желающих среди обращённых кровных не находилось. Статус «низший член дома без права голоса» на деле означал то же, что «стажёр без оклада». Тебе выдают тряпку, ведро и дают понять, что тебя терпят, а не ждали. Четыре года назад я с этого и начинал — стажёром в конторе на полсотни человек, где рук не хватало и потому росли быстро: до тимлида там дотягивали за три года каждого, кто тянул.

Я оттирал воск со ступеней в западном крыле: снаружи оно выглядело целее остальных, а изнутри его расковыряли лесами почти до потолка. Воск лежал слоями и снимался только скребком. За спиной раздались шаги, лёгкие и быстрые, а те, кто обычно приходил проверить, не сачкую ли я, ступали тяжело, всей подошвой.

— Тебя, значит, посадили на ступени, — сказала она. — Классика. Всех новеньких сначала сажают на ступени, будто это какой-то обряд посвящения. У меня в своё время ушёл почти месяц, прежде чем я поняла, что дело не в грязи, а в том, чтобы посмотреть, сломаешься ты или нет.

Я обернулся. На верхней ступеньке стояла девушка — то есть девушка с виду — и держала руки скрещёнными на груди. Тёмные волосы стянуты на затылке кое-как, на бегу, две пряди выбились на лицо. Глаза светлые, серо-зелёные. Тёмная рубашка, рукава закатаны до локтя, и я впервые увидел в этом доме одежду, что сидела на человеке, а не на роли. Смотрела она без брезгливости и без холодного прищура, которым меня две недели мерили в коридорах, — смотрела с любопытством: так разглядывают редкий экспонат, который случайно оказался у тебя в коридоре.

— Даэлла, — назвалась она. — Меня назначили тебе в проводники. Официально — потому что кто-то должен объяснить тебе правила, прежде чем ты нарушишь одно из них и сгоришь буквально или фигурально. Неофициально — потому что больше никто не вызвался, а мне нужны были очки в глазах кое-кого повыше.

— Приятно слышать такую честность, — сказал я и встал. Колени затекли так, что первые два шага вышли бы как у старика, и я постарался этого не показать. — Обычно новую работу продают немного иначе.

Она фыркнула — коротко, в нос, без улыбки, но не для вида. Две недели я не слышал, чтобы в этом доме кто-нибудь смеялся, и успел забыть, что так бывает.

— Ты уже второй, кто сравнивает всё происходящее с работой, — сказала она. — Первым была я сама, лет пятьдесят назад. Тогда мне казалось остроумным.

— Тебе сколько лет? — спросил я и тут же пожалел: прямее некуда.

— Достаточно, чтобы не обижаться на такие вопросы, и недостаточно, чтобы перестать выглядеть на двадцать три. — Она наклонила голову к плечу. Взгляд стал другим: с интересом, в упор. — Обращена почти семьдесят лет назад. Всё ещё на середине Пробуждения Крови, для сравнения — раз уж тебе, наверное, интересно, с кем тебя поставили в пару. Не самый впечатляющий проводник, зато живой пример того, что в этом доме можно годами топтаться на одном месте и не сойти с ума. Или сойти, но по-тихому.

Горечи в голосе не было. Она сообщила это так, как сообщают прогноз погоды: плюс пять, осадки. Мне это скорее понравилось, чем нет. Две недели со мной говорили так, что после каждого слова я ждал следующего ожога, и по людям, которые говорят иначе, я успел соскучиться.

— Ладно, — сказала она. — Пойдём, покажу тебе дом, пока ты не спалил себе что-нибудь важное по незнанию.

Следующий час она вела меня по коридорам и выдавала правила в темпе, каким опытный сотрудник вводит в курс дела стажёра, которого не рассчитывает увидеть здесь через месяц: показала, назвала, дальше. Коридоры второго этажа я выучил с колен, а в рост они выглядели иначе. Паркет рассохся и вытерся до серого посередине, лампы горели через одну, портреты в тяжёлых рамах висели плотно, и под каждым третьим — зеркало под тканью.

— Кормление — три раза в неделю, строго по расписанию, здесь, — Даэлла ткнула подбородком в стальную дверь в подвальном коридоре. Серая, без таблички, с новым замком. — У Дома своя сеть частных медцентров и подставных лабораторий по всей Москве. Люди приходят сдавать плазму или якобы участвуют в платных клинических испытаниях за хорошие деньги, подписывают стопку NDA и уходят довольные, даже не понимая, куда потом уходят пакеты с их группой. Проверка строжайшая: скрининг на токсины, инфекции, психоактивные вещества. Никакой «дикой охоты» в подворотнях — Дамиан за несанкционированный укус на улице снимет шкуру быстрее инквизиции. Не вздумай пробовать что-то за пределами лимита: на низших ступенях голод сносит крышу за секунды, а сорвавшийся вампир — это угроза маскировке, которую списывают в утиль без предупреждения. Ну и про солнце помни: нарушишь протокол безопасности — превратишься в горстку пепла раньше, чем успеешь позвать на помощь.

— Понял. Самодеятельность не поощряется, — сказал я. Рука сама потянулась к лопатке. Под рубашкой там сидел свежий рубец, кожа вокруг него стянулась и до сих пор ныла, глухо. — Уже прочувствовал на практике.

Скованность я держал нарочно, и простоватость тоже. Плечи вперёд, взгляд в пол, ответы короче, чем мог. Чем охотнее Дом видит во мне забитого стажёра, который пережил инициацию чудом, тем меньше шансов, что кто-то спросит себя, что за сила досталась мне вместе с кровью Дарины.

— О. — Она сбавила шаг и посмотрела на меня иначе. Не с жалостью — с уважением, которого минуту назад не было. — Значит, ты один из тех редких новеньких, кто не только слушает правила, но и на своей шкуре успел проверить, что бывает, если их нарушить. — По её лицу прошла трещина, и она тут же её затёрла. Голос стал на полтона суше. — Быстро тебя, однако. Мне для того же понадобилось чуть больше семидесяти лет. Хорошо. Меньше объяснять.

Дальше — люди. Не члены дома в строгом смысле, а фамильяры. За две недели я видел их несколько раз и всегда мельком: тихие, вежливые, всегда на полшага в стороне. Они топили камины, меняли бельё, поправляли портьеры и говорили между собой вполголоса. Так ведут обычный семейный дом, только очень старомодный.

— Связаны кровью с кем-то из старших, — сказала Даэлла. Она поймала мой взгляд: в дальнем зале седой мужчина поправлял портьеру, складка к складке, и в нашу сторону не смотрел. — Не обращены, но и не совсем люди больше. Живут дольше, заживают быстрее, но зависят от крови патрона, которую регулярно получают. Хочешь по-человечески — не заговаривай с ними о том, чтобы их когда-нибудь обратили по-настоящему. Обещания на этот счёт раздают годами, а исполнить закон не позволяет. Жестокая штука, если вдуматься, но здесь такого добра хватает.

Я кивнул и отложил это в тот же список, куда с ночи обращения складывал всё остальное. В списке лежало то, что я пока не готов был разбирать до конца: каждый пункт тянул за собой ещё десяток вопросов, и ни на один у меня не было ответа.

— И последнее на сегодня, — сказала Даэлла и встала у поворота. Из-за угла глухо стучали молотки и тянуло сырой штукатуркой: там начиналось то самое крыло с лесами. — Реконструкция. Она тянется здесь дольше, чем я вообще нахожусь в Доме, и Дамиан Саввич явно не спешит её заканчивать. Бюджеты списываются тоннами, рабочих постоянно меняют, а леса кое-где гниют годами. Идеальная ширма: под шум перфораторов удобно замуровывать неудоб-

ные помещения и делать вид, что Дом процветает, пока он медленно рассыпается изнутри. Короче, держись основных коридоров и не суйся за защитную плёнку без прямого приказа — там реально можно свернуть себе шею на ровном месте или наткнуться на то, что тебе видеть не положено.

— Записал, — сказал я. — «Не умирать от бюрократической нерасторопности дома» — уже второй пункт в списке моих должностных обязанностей после «не голодать не по расписанию».

Она снова фыркнула, на этот раз дольше и теплее. Мне этот звук понравился больше, чем следовало. Две недели назад она обо мне и не слышала. Завтра, возможно, будет докладывать обо мне кому-то ещё.

Разумеется, сразу после этого разговора мне велели вытащить партию скребков и растворителя из дальнего хозблока. Хозблок стоял в том самом закрытом крыле.

— Мне казалось, ты только что сказала не соваться туда без прямого приказа, — сказал я. Даэлла сунула мне пластиковый ящик для переноски и моток малярного скотча, початый, с торчащим хвостом.

— Я тебя сопровождаю, — сказала она и ткнула пальцем себе в грудь. — Формально. Заодно и покажу, как там всё выглядит, чтобы у тебя в голове не рисовались декорации из фильма ужасов хуже реальности.

Реальность оказалась проще любых декораций: длинный коридор, обои ободраны до штукатурки и висят языками, вдоль одной стены леса в три яруса, доски серые от пыли. Под потолком на растяжке горит переносная лампа в проволочной сетке, тусклая; рабочие оставили её то ли на выходные, то ли на десятилетие. Мы прошли половину, Даэлла говорила про это крыло — раньше здесь была библиотека, теперь памятник дыре в казне, — и тут у меня внутри оборвалось. Резко, без предупреждения, как рвётся нитка.

Я остановился.

— Что? — Даэлла встала на полшаге.

Объяснить это я не смог бы и потом. Не звук. Не запах. Ничего из того, что ловят пять чувств. Просто внутри, между животом и грудью, вспыхнуло — коротко, ярко, и я ни секунды не сомневался, что это такое. Предчувствие, плотное настолько, что его можно было взять в руку. *Прямо сейчас. Впереди. Сверху.*

— Назад, — сказал я. Рука дёрнула Даэлла за плечо раньше, чем я решил её дёрнуть, и оттащила на два шага назад, туда, откуда мы пришли.

Она среагировала быстрее, чем я ждал от человека её роста и сложения: не упёрлась, не спросила — просто пошла за рукой, доверив чужой панике ровно два шага. В ту же секунду сверху сухо треснуло. Треск тянулся, пока по всему ярусу не сорвались крепления, и на то место, где мы стояли, легла секция лесов: три доски, ржавые трубины, брус от стойки. Доски ударили в пол плашмя, пыль, копившаяся там годами, поднялась столбом до самой лампы, лампу качнуло, и свет пошёл по стенам туда-сюда. Меня обдало крошкой по щеке, Даэлле — по рукаву до плеча. Там, где внутри вспыхнуло, теперь было пусто, и руки мелко тряслись — не от страха, а оттого, что тело сработало раньше меня.

Несколько секунд мы оба молчали и смотрели на обломки. Ещё вчера, если верить Даэлле, эти доски держали хоть какую-то нагрузку.

— Так, — сказала она наконец. Голос она держала ровно, слишком ровно. Зрочки в полутьме разошлись почти на всю радужку, и за ними шёл счёт: она прикидывала. — Это было либо самое дикое статистическое совпадение за все мои семьдесят лет, либо тебе стоит очень аккуратно подобрать слова и объяснить мне, откуда ты знал.

— Не знал, — сказал я, и это было почти правдой. — Просто... почувствовал. Как будто кто-то дёрнул за нерв за секунду до того, как это случилось.

Она медленно повернулась ко мне и скрестила руки на груди. Снисходительность старшей коллеги слетела вся и сразу. Теперь на меня смотрели так, как смотрит следователь, у которого сошлись два показания из трёх.

— У новеньких бывает обострённый слух или нервная дрожь, — отчеканила она. Голос упал почти до шёпота. — Но перехватить траекторию падения за полсекунды до срыва балки? Такое чутьё — на полсекунды вперёд — появляется ближе к высшим ступеням Пробуждения. Если ты провернёшь подобный фокус на глазах у Виктора или Дамиана, тебя не похвалят за реакцию. Тебя вскроют в подвале, чтобы проверить, чьей кровью тебя на самом деле накачали.

— Значит, мне повезло, — сказал я. Голос я сделал легче, чем было внутри.

— В этом Доме слишком везучие долго не живут, — тихо отрезала она и посмотрела мне прямо в глаза, не мигая. — Они либо становятся угрозой, либо материалом. Надеюсь, ты это понимаешь.

Я и сам не был уверен, что мне от этого легче. Привычка искать закономерность там, где остальные видят случай, работала и здесь. И она уже сложила: за две недели это был не первый раз, когда что-то во мне вспыхивало раньше, чем стоило бы. Просто первый, когда цена ошибки лежала на полу в трёх шагах и весила килограммов сорок.

Но сказать это вслух значило признать и остальное, к чему я пока не был готов. Так что я нагнулся за ящиком с инструментами — он выпал, когда я дёргал Даэлла. И замер.

Сорвавшийся брус пробил свежий гипсокартон и выломал из обшивки кусок в полметра. За ним открылась кладка из старого кирпича, а в кладке — глухая ниша кирпича на четыре. Внутри, в вековой известковой крошке, тускло блеснул металл: латунный цилиндр, тяжёлый — видно по тому, как он вдавился в крошку. На торце печать из сургуча, стёрта наполовину, но герб прежнего главы Дома ещё угадывался.

Даэлла в этот момент стояла ко мне спиной: отряхивала рукав от серой пыли и вполголоса чертыхалась.

Одно плавное движение, пока облако пыли не осело окончательно: цилиндр скользнул на дно ящика, накрытый грязной ветошью и малярным скотчем. Сверху легли скребки.

— Чистая случайность, — повторил я уже ровнее, поднимаясь на ноги с ящиком в руках. — Обычное совпадение.

Ничего больше.

Глава 5 Слабое звено

— Стой здесь, — тихо сказала Даэлла. Она подтолкнула меня в самый конец зала, туда, где толпа членов дома редела до одиночных фигур у стен. — И что бы ни происходило, молчи. Сегодня не тот вечер, чтобы лишний раз напоминать всем, что ты есть.

Зал для собраний был тот самый, где меня месяц назад разглядывали как диковинку. Сегодня его переставили: стулья стояли рядами, и члены дома садились по правилу, которого никто не объявлял и никто не нарушал. Старшие — ближе к возвышению, младшие — дальше. Этот воздух я знал по прошлой жизни. Так бывает на общем собрании в конторе и на церковной службе: никто не хочет здесь быть, и каждый обязан выглядеть так, будто хочет.

— Малый совет крови, — шепнула Даэлла. Вопросы я не задавал, она ответила на взгляд. — Раз в месяц. Сегодня кто-то из младших рождённых проходит испытание на переход между внутренними уровнями Пробуждения — формальность, но с ней принято тянуть до совета, чтобы старшие видели своими глазами, кто растёт, а кто нет.

Я невольно напрягся при слове «испытание», и зря: то, что происходило дальше, с моим опытом не имело ничего общего. К возвышению вышел молодой парень — рождённый, судя по разговорам вокруг, с виду лет двадцати. Там его ждал один из старейшин, и весь ритуал занял от силы пять минут. Старейшина взял парня за запястье и подержал, сколько держат пульс, — воздействие на кровь, короткое; у парня дрогнула кисть, но руки он не отнял. Потом старейшина произнёс формулу, три или четыре слова, которых я с конца зала не разобрал, положил парню ладонь на плечо и отпустил. Ладонь на плече — и всё подтверждение перехода, почти по-отечески. В рядах никто не повернул головы; мой сосед справа поправил манжету. Никакого рассвета, никакого бойца с побелевшими шрамами на предплечьях. Просто бюрократия роста, пять минут по расписанию.

Ну конечно, подумал я. Сухое чувство абсурда; в последний месяц оно накатывало всё чаще. Обычным сотрудникам — плановая аттестация. Мне — экстренная проверка на пригодность с элементом смертной казни.

Но интереснее самой процедуры было то, что шло вокруг неё. Ритуал вёл пожилой мужчина, сухой, с выправкой; соседи по ряду шептались, что это церемониймейстер и что дому он служит не первый десяток лет. Двигался он медленно, говорил негромко, и на новичка это действовало: ни одного лишнего шага, ни одного лишнего слова. Беда в том, что новичком я уже не был. Не до конца.

За месяц я узнал о ступенях Пробуждения достаточно, чтобы смотреть на него так, как четыре года смотрел на чужие компании. И то, что я видел, со статусом Дома Чёрной Луны не сходилось. Сила от него шла — но просевшая по всем признакам: я её чувствовал с конца зала, и только. Давления ядра, о котором предупреждала Даэлла, не было. Это было похоже на фирму с хорошей вывеской: приёмная, регламент, все на местах — а работу давно делают двое из тридцати.

Я медленно обвёл взглядом зал. То же самое было и в рядах: младшие держали дистанцию не потому, что боялись хищника старше себя, а потому, что так положено, — и устав, где это положено, никто давно не перечитывал. Вся эта постройка с колоннами стояла на «так заведено». Запаса сил, чтобы удержать Дом, если он качнётся, я не чувствовал ни в ком, кроме одного: Дамиан стоял у колонны, от него холодом тянуло через весь зал, и он один здесь, кажется, ритуал не смотрел — взвешивал.

В первом ряду, ближе к возвышению — не у стены, где скучал Виктор, — сидели двое старших. Грузный мужчина с тяжёлым лицом цвета серого гранита; так смотрят те, кто выносит приговоры и голоса при этом не повышает. И женщина рядом — безупречная прямая спина,

руки сложены на коленях с геометрической точностью, ни единой лишней складки на строгом тёмном платье.

— Старая гвардия, — Даэлла поймала мой взгляд и подсказала вполголоса. — Агафон Захарович, вон тот, с гранитным профилем, не терпит суеты и чужих в архиве — перемены признаёт только те, что проведены строго по форме. Регина Аркадьевна рядом — протокол, дисциплина и внутренний аудит клана. С обоими держись предельно вежливо, не отвечивай и ни в коем случае не пытайся заговорить первым.

— А третий, через проход, с тростью на коленях, — добавила она. Головы она не повернула. — Демьян Осипович. Голос Дома. Говорит редко, но когда говорит, старейшины замолкают. Держится за устав как за перила.

Она чуть повела подбородком в сторону дальних рядов, где сидели ещё двое.

— А это кровные наследники. Всеволод Родионович — тот, на котором взгляд не задерживается; он этого и добивается, лет девяносто уже. И Ирина Глебовна рядом. Вот эта опасная: она не спорит, она запоминает и ждёт. Если она когда-нибудь тебе улыбнётся — значит, всё уже решено, просто ты ещё не в курсе.

Слабое звено, подумал я и вспомнил латунный цилиндр с печатью прежнего патриарха. Он лежал у меня под половицей в каморке, и его тяжесть я до сих пор помнил рукой. Если «старая гвардия» годами держалась за один порядок ритуалов и не смотрела, как проседает ядро, то кто перестроил Дом под себя и убрал прошлого главу? И почему то, что лежит в этой гильзе, до сих пор ищут так, что готовы перерыть всё закрытое крыло?

Регина Аркадьевна поднялась со своего места, и в зале стало тише на одну ступень, как на планёрке, когда доходят до денег. В руках у неё была тетрадь в тёмном переплёте, раскрытая заранее на нужной странице; закладку она не искала.

— Счёт дома за месяц, — сказала она. — По ярусам.

Голос ровный, без подъёма в конце фраз: ведомость, а не речь. Я подобрался и заметил это не сразу: единственный язык в зале, на котором я мог проверить, сходится ли.

— Переход рождённого — внесён. Ступень прежняя, уровень следующий.

Парень, ради которого собирались, стоял теперь у стены, и по нему нельзя было сказать, что пять минут назад его признали выросшим. Его вписали: число в тетради у него не поменялось, поменялась строчка под числом. На этом торжественная часть, судя по всему, и кончалась.

— Деньги. Западное крыло — по смете. Медцентры — по договорам. Прочее по зданиям — по смете.

— Принято, — сказал Дамиан Саввич от колонны.

Он не изменил позы и не спросил ни о чём. «По смете» — это не число. На прошлой работе за такими двумя словами шёл вопрос из зала, и задавать его было моей работой. Вопросы из зала не было. Я вспомнил леса в западном крыле, гнившие там дольше, чем Даэлла жила в доме, и держал рот закрытым, как велели. Даэлла рядом не шевельнулась, только пальцы легли на мой рукав и отпустили: молчи.

Регина Аркадьевна перевернула лист.

— Казна дома. Довольствие — по лимиту, превышений нет. Содержание — прибавлена одна единица, с прошлого месяца.

Лимит я знал изнутри — три раза в неделю, по расписанию, за стальной дверью, — и превышений в моей строке действительно не было. Прошлый месяц я и сам считал первым.

— Единица, — сказал я одними губами. — Это я?

— Это ты. — Даэлла не повернула головы. — Радуйся, что ты вообще в тетради.

Радоваться я не стал. Единица содержания: то, что дом кормит, размещает и вносит в расход рядом с отоплением и стиральным порошком. У меня в отделе так проходила кофемашина — «обслуживание», раз в месяц, без вопросов. Месяц я оттирал воск со ступеней и тас-

кал растворитель из хозблока, и всё это время шёл по бумагам расходом, который дом несёт с прошлого месяца. Я поймал себя на том, что ищу глазами, кто в зале повернётся в мою сторону, — и не повернулся никто. Меня внесли в расход, и расход приняли.

Она перевернула ещё лист. Этот был исписан меньше остальных — я видел это даже с конца зала, по тому, как мало её палец ходил по строчкам.

— Чистая кровь рода. Выдач не было.

Пауза там, где полагалось быть паузе. Никто не поднял головы. Агафон Захарович смотрел перед собой, как смотрел и до этого; у парня у стены, которому сегодня подтвердили рост, даже плечи не дрогнули. Плохую новость слушают иначе. Это слушали как строку, которую зачитывают каждый месяц одними и теми же словами, и слова эти давно перестали быть новостью. Сколько месяцев подряд — я не знал. Знал только, что фирма с хорошей вывеской, которую я разглядел на ритуале, теперь получила объяснение: двое из тридцати — и им давно не платят.

Демьян Осипович не встал — только опустил трость наконечником в паркет, один раз, негромко, и этого хватило, чтобы Регина Аркадьевна остановилась.

— Занесите, что переход проведён без выдачи. По форме.

— Занесено.

Перо у неё при этом не остановилось: строка была заготовлена, оставалось поставить дату. Трость вернулась на колени. Всё. Голос Дома произнёс восемь слов, зал их принял, и я не сразу сообразил, что услышал: у устава есть готовая формулировка для перехода без крови. Её не придумывали на месте. В моём отделе так заводили шаблон служебной записки под сбой, который случался каждую пятницу: с третьего раза его перестают чинить и начинают оформлять. Формы заводят под то, что повторяется.

Регина Аркадьевна закрыла тетрадь и села. Спина вернулась в прежнее положение, и лишней складки на платье снова не было ни одной.

Я стоял и разбирал услышанное. Три яруса, три страницы, и она ни разу не перевела одно в другое: рубли в единицы не переводились, единицы в кровь — тем более. Деньги — «по смете», казна — «по лимиту», кровь — «не было». Три разных языка, и на каждом дом говорил одно и то же: он ничего не выдаёт, он всё принимает. «Принято» в моей прежней конторе называлось «принять к сведению» и означало, что делать никто ничего не будет. Заметил я и то, в каком ярусе стою. Рабочие и медцентры шли в деньгах. Я шёл в казне, рядом с довольствием: мне не платили, меня содержали. Единственное, что у дома за месяц прибавилось, — я, и прибавили меня к расходам.

Я прошёл все три страницы ещё раз, по памяти, и получил тот же итог.

— Ты сейчас на что-то смотришь так, будто решаешь уравнение, — тихо сказала Даэлла и придвинулась чуть ближе. — У тебя лицо становится особенным, когда ты об этом думаешь. Замечал?

— Профессиональная деформация, — сказал я. — Раньше за это платили зарплату.

Она улыбнулась, но взгляд у неё на секунду ушёл в сторону — туда, где у стены стоял Виктор Ряжский. Молодой, подчёркнуто холёный представитель одной из старейших чистокровных ветвей Дома смотрел на меня и ненависти не прятал. Брезгливой: так смотрят на плесень, которая попала на фамильный фарфор.

— А вот с Виктором даже взглядом не встречайся, — шепнула Даэлла. Пальцы её снова нашли мой рукав и на этот раз сжали. — Ряжские считают себя солью Дома, а любого обращённого со стороны — ошибкой природы. Особенно такого, вокруг которого шепчется сам Дамиан.

* * *

Собрание кончилось, и зал стал расходиться медленно, по двое и по трое, с той же церемонностью, что бывает после любого официального мероприятия: всем хочется поговорить

друг с другом, и никто не хочет уходить первым. Мы с Даэллай почти дошли до выхода, когда дорогу нам заступил тот самый молодой человек от стены — крепкий, светловолосый. Уверенность в себе такого рода строится на одном из двух: на настоящей силе — или на твёрдой вере, что проверять тебя на прочность никто и не станет.

— Виктор, — сказала Даэлла. Ровно, без нажима, и всё же это было не имя, а просьба вести себя прилично.

— Просто хочу поближе познакомиться с новым членом семьи, — сказал он, не сводя с меня взгляда. — Мы ведь толком и не разговаривали, с той самой ночи, когда тебя приволокли сюда как трофей.

— Не думаю, что нам есть о чём говорить, — сказал я. Ровный голос стоил усилия: тело поняло угрозу раньше головы. Под рёбрами уже стоял тот холодок, который я за месяц выучил, — за ним всегда приходило плохое.

— А мне кажется, есть. — Он шагнул ближе — на полшага ближе, чем стоят, когда разговаривают. — Я родился в этом доме. Мой прадед служил ещё старому патриарху. А ты — уличный мусор, который какая-то отчаявшаяся девчонка протащила сюда в обход всех законов, потому что не нашла в доме никого достойнее. И теперь я должен звать тебя братом по дому?

— Виктор, — снова сказала Даэлла, резче.

— Мне интересно другое, — продолжил он. Даэлла для него в зале не было. — Все шепчутся, что ты якобы прошёл испытание. Едва-едва, если верить рассказам. Хочу проверить сам, насколько это «едва».

Он толкнул меня ладонью в грудь. Не сильно — напоказ, чтобы видели. Но за толчком стояло продолжение, и прочёл бы его даже я: он ждал от меня одного из трёх — страха, извинения, шага назад. Не дожждётся — продолжит.

Я не отступил. Уверенности в себе тут не требовалось — просто та часть меня, что помнила три дня в запертой комнате и рассвет, который шёл по брусчатке, не понимала самого слова «отступить» — тем более перед тем, кто смерти так близко ни разу не видел.

— Я бы попросил не трогать меня руками, — сказал я, — прежде чем это перестанет быть вопросом вежливости.

Лицо у него изменилось. Жертва не вела себя как жертва, и раздражение ушло; на его место пришёл азарт. Он ударил — быстро, в лицо. На этот раз я удар увидел, но поздно, на полголовы: уклонился не весь. Кулак задел скулу вскользь и развернул мне голову, и рот сразу наполнился кровью — горячей, с железом.

И тогда тело решило само. Меня оно не спросило — как исполнитель, которому надоело ждать, пока начальство договорится. Сознание выключили на секунду. Я успел заметить одно: из жил выжали всё, что там было, и платить за это буду я. Потом.

Рывок вышел коротким и прямым, по одной линии, и дистанции между нами не стало. самого движения я не увидел — только толчок в подошвы, короткий выдох, хлопок ткани и финал: Виктор, снятый с места, пролетел метра два и с сухим треском разломал спиной составленные у стены стулья. Под моей правой ногой в паркете осталась выщерблина — точка, откуда я оттолкнулся. По залу прокатился единый сдавленный вдох. Я стоял ровно там, где мгновение назад стоял он. Мышцы гудели от перегрузки; ладони дрожали, и унять их я не мог. За глазами полыхал тот самый едкий багровый жар: у вампиров он значит одно — ядро работает на пределе, в бою.

Следом за рывком пришёл голод. Он взорвался сразу и на пару секунд накрыл всё остальное — даже страх, даже разум. Меня тянуло к запаху крови у меня же во рту. К пульсу тех, кто стоял в зале: я слышал его, десятки ударов вразнобой. К самому воздуху — и воздух тоже хотелось съесть. На миг я всерьёз не мог вспомнить, зачем вообще надо останавливаться.

— Арсений. — Голос Даэллы прошёл сквозь гул откуда-то сбоку, тихий и твёрдый, и в ту же секунду её рука легла мне на плечо и сжала. — Смотри на меня. Не на него. На меня.

Виктор поднимался с пола медленно. Он цеплялся за обломки стульев; на лице у него было сперва одно ошеломление, потом сквозь него проступила ярость — до белых губ, без единого звука. Но смотрел на меня уже не только он. В зале стало тихо так, что я слышал хруст щепы под Виктором. Старая гвардия в первом ряду замерла. Агафон Захарович впервые за вечер подался вперёд, и взгляд его лёг на меня всей тяжестью, свинцом. Регина Аркадьевна медленно подняла бровь — ровно на столько, сколько отводит на это протокол, — и в лице у неё не было ничего, кроме холода и настороженности. Ирина Глебовна одна не повернула головы в мою сторону — смотрела на обломки стульев, на Виктора, куда угодно, только не на меня. Это я запомнил быстрее, чем следовало бы. Для них это не было потасовкой молодняка: они прочли силу — и знали, что у уличного выскочки её быть не может.

Хуже всего был взгляд Дамиана Саввича у дальней колонны. Он не шелохнулся, не сделал ни жеста, но его темные, немигающие глаза зафиксировали меня с тем цепким, препарирующим интересом, с каким хищник изучает неожиданно обнажившийся клык жертвы. Я понял, что совершил критическую ошибку: спасая челюсть от удара Виктора, я только что показал всему совету Дома единственную карту, которую собирался держать закрытой до конца.

Глава 6 Первая нить

Старейшины так и не поднялись дальше первого движения. Зал замер на полушаге: кто-то привстал, кто-то взялся за спинку стула, и все так и остались в этих позах. Тревога последних секунд осела разом и выхода не нашла. Развязка наступила быстрее, чем я рассчитывал, и без единого удара с чьей-либо стороны.

— Достаточно, — сказал кто-то. Голос я узнал не сразу: Агафон Захарович. Он стоял между мной и Виктором — успел раньше, чем тот поднялся на ноги, и откуда он там взялся, я не видел. — Виктор, ты спровоцировал столкновение на глазах у всего совета. Арсений защищался. На этом инцидент закрыт — если, конечно, ты не хочешь официально оформить его как вызов, со всеми вытекающими формальностями и рисками для тебя лично.

Вызова Виктор не хотел: лицо у него сменилось за секунду, злость ушла под кожу и осталась только в челюсти. Он буркнул что-то невнятное — на извинение не тянуло, но и угрозы в этом не было — и дал кому-то из своих увести себя. На пороге обернулся. Взгляд обещал, что разговор не закончен, а только отложен.

Голод стихал медленно. Он отступал, возвращался и снова отступал, и каждый откат я считал по горлу: сухо, потом чуть меньше, потом опять сухо. Даэлла всё ещё держала меня за плечо. Зал почти опустел, когда я понял, что пальцы у неё сжаты не слабее, чем мышцы под ними у меня.

— Ты в порядке? — спросила она и наконец отпустила руку.

— Определение «в порядке» у меня в последнее время сильно расширилось, — сказал я. — По текущим меркам — да.

Агафон Захарович задержался рядом дольше остальных. Смотрел он так же, как в первую ночь, — долго, и ни разу не моргнул, — только тогда он смотрел на сам факт, что я есть, а теперь пересчитывал, чем я обойдусь дому.

— Второй рывок за месяц, — сказал он тихо, скорее себе, чем мне. — Без обучения, без контроля. Тебе стоит начать заниматься этим всерьёз, пока это не начало заниматься тобой.

Спросить, у кого именно учиться, я не успел: он ушёл, и вопрос провисел без ответа ещё неделю.

Я смотрел ему вслед и складывал вечер. Виктора не наказали. Меня не оправдали — за меня сказали, что я защищался, и этого хватило, чтобы все разошлись. Дом Чёрной Луны не решает конфликты — он их останавливает. В словах Агафона Захаровича разница почти не заметна, на деле она большая: остановленное не значит закрытое. Оно лежит и ждёт, пока его станет некому остановить.

* * *

Расследование — слово громкое для того, чем я занимался следующие несколько дней. Решения начать его я не принимал. Просто однажды потребность хоть в чём-то разобраться перевесила всё остальное. Слишком долго я плыл по течению: сначала шок, потом выживание, теперь рутина дома, который меня терпел, но не принимал. Четыре года я раскладывал чужую неразбериху на задачи со сроком и исполнителем, и эта привычка потребовала своего: хотя бы один ответ на вопрос, который не отпускал с первой ночи. Кем была Дарина. Что случилось с человеком, чью фамилию я теперь, по сути, носил вместо своей.

— Расскажи мне про её отца, — попросил я Даэllu однажды вечером. Мы разбирали очередную партию хозяйственных поручений в цокольной кладовой. Три шага на четыре, камень, ни одного окна; под потолком гудела лампа без плафона, ватт на сорок. Дубовые полки шли по трём стенам, на них стоял инвентарь и склянки в пыли, и две доски посередине провисли под грузом так, что между ними и стеной прошла бы ладонь. Штукатурка осыпалась, с неё тянуло известью; в углу кладка была тёмной от сырости, и въелась эта сырость не за один год. Особ-

няк не чинили — где сыпалось, туда вешали тряпку, и такие тряпки я видел уже не в одной комнате. — Про законного главу. Того, кого сменил Дамиан.

Она замерла. Список был у неё в руке, и пальцы сжались — бумага была плотной, хрустнула и пошла складками. Взгляд ушёл к двери: та стояла приоткрытой, и Даэлла две секунды смотрела в коридор за нашими спинами, прежде чем ответить.

— Заткнись, — прошептала она. Раздражения, к которому я привык, в голосе не было. Голос сел, шёпот вышел с придыханием; так шепчут не от злости — от страха. — Даже не произноси этого вслух.

— Я просто хочу понять, во что вляпался, — тихо ответил я.

— Те, кто задавал этот вопрос до тебя, больше ничего уже не спросят, — отрезала она и отвернулась к полке. — Это не та тема, с которой можно ходить по дому, если ты планируешь дожить до следующей осени.

Она разглаживала смятый лист о полку — раз, другой, — и складки не расходились. Руки у неё подрагивали.

Дальше я сменил тактику. Прямых вопросов больше не задавал: ронял по фразе за общим ужином фамильяров и младших членов дома, где меня, по крайней мере, не выгоняли из-за стола. Слова «прежний глава» роняли разговор в тишину быстрее любой другой темы, какую я успел затронуть за месяц, — быстрее даже, чем мой собственный неудобный статус. Люди не злились. Они находили себе занятие: разливали чай, поправляли скатерть, вспоминали неотложное дело в другом конце дома.

Ужинали на кухне, в единственной комнате дома, где к вечеру собирались те, кому положено есть. Плита советского образца, на четыре конфорки, из них грели две. Через потолок шла трещина под скотчем, и скотч пожелтел. Длинный стол под клеёнкой в клетку; на углах, где садились чаще, клеёнка была протёрта до ткани. Фамильяры ели картошку с тушёнкой из разномастных тарелок, собранных с трёх сервизов, у половины — сколы по краю. Младшие обращённые сидели с ними за компанию, с чашками чая, к которому не притрагивались. Мне наливали такую же чашку, и я держал её так же, как они, — чтобы было чем занять руки.

Разговор в тот вечер шёл про котлы. Отопление в доме обсуждали так, как у меня на прошлой работе обсуждали премии: с надеждой и без иллюзий. Я дождался паузы между двумя репликами и вставил свою:

— А при прежнем главе с котлами так же было?

Стол сделал то, что делал всегда. Седой фамильяр, тот самый, что поправлял портьеру в дальнем зале, поднялся за чайником. Женщина напротив пододвинула ко мне хлеб, которого я не просил. Кто-то вспомнил про текущий кран наверху и вышел. Пауза уложилась в три секунды, и закрыл её молодой обращённый, сидевший ближе всех к плите.

— Про прежнего не знаю, меня поздно обратили. А порядок в доме — это к Виктору. Ряжские тут соль, у них на всё есть как правильно.

— Виктор со мной разговаривал один раз, — сказал я. — Кулаком.

— Вот и не лезь второй. — Он отхлебнул из чашки, к которой до этого не притрагивался.

Про котлы договорили без меня. Стол пустел, и я остался мыть посуду вместе с седым фамильяром: хозяйственные поручения были единственным моим правом в этом доме, и отказываться от него я не собирался. Он мыл, я вытирал. Вода из крана шла тёплой не сразу, и он ждал с рукой под струёй, потом брал тарелку. Полотенце мне досталось вафельное, серое от стирок. Минуты две мы молчали, потом он сказал и головы не повернул:

— Здесь не помнят вслух. Ни про кого. Так заведено.

— Я заметил.

— Не заметил. Ты спросил. — Он поставил тарелку в сушку. — Те, кто спрашивал до тебя, больше не спрашивают. Тебе это уже говорили, я слышал по тому, как ты спросил.

Я вытирал тарелку дольше, чем ей требовалось. Он смотрел не на меня — на дверь, приоткрытую в тёмный коридор. Тот же взгляд, что у Даэллы в кладовой, только у Даэллы был статус, который можно потерять. У него, по всем раскладам, которые я успел построить, статуса не было вовсе, и терять ему было нечего. Он всё равно смотрел на дверь.

— Нам тут обещают. Годами. Ждут, и я жду. Об этом со мной не заговаривай, и я с тобой не заговорю.

Я промолчал.

Он вытер руки о полотенце, которое я держал, и ушёл первым.

Закономерность сложилась быстрее, чем я рассчитывал. Ни один человек в этом доме — ни старый, ни молодой, ни рождённый, ни обращённый — не сказал о прежнем патриархе больше одного предложения, и это предложение всегда было нейтральным. На скорбь это не походило. Скорбь многословна, ей нужно выговориться. Здесь молчали одинаково, будто по инструкции, и молчали годами: страх, который вбили давно и который никто не рисковал нарушить.

Занятно, подумал я и отложил эту мысль к остальным, которые копил с ночи обращения. Если хочешь понять, где у организации спрятан труп, ищи не то, о чём все говорят слишком много. Ищи то, о чём все молчат слишком одинаково.

Знать правду мог, хотя бы теоретически, один человек в доме, и он же единственный показал мне какую-то долю доверия: Агафон Захарович. Я подловил его через три дня в отремонтированном крыле особняка — таких крыльев тут было немного. Комната в шесть шагов, стеллажи от пола до потолка по всем четырём стенам, проход между ними в ширину плеч. Пахло старой бумагой, кожей переплётów и ладаном — слабым, застарелым.

— Архив, — пояснил он, не оборачиваясь, когда я замер в дверях. — Моя вотчина. Пришёл мыть здесь пол, или у тебя другой повод?

— Хотел спросить, можно ли что-то почитать про историю дома, — сказал я. — Раз уж мне, судя по всему, здесь надолго, хотелось бы понимать, во что я вписался, — не только на уровне бытовых правил.

Он смерил меня долгим взглядом — тем самым, что я уже научился читать как «проверяю, врёшь ли ты», — но кивнул и указал на один из дальних стеллажей.

— Общая история дома — вон там, читай сколько хочешь, это не тайна. — Он помедлил, прежде чем добавить: — Родословные книги — в этом шкафу. Официальные, заверенные, с записями о каждом рождённом и обращённом за последние три века. Тоже не тайна формально. Но советую не задерживаться на определённых страницах дольше, чем требует простое любопытство.

Он вышел и оставил меня одного. Что это было, я решить не мог: предупреждение, проверка — или тот единственный вид помощи, какой Агафон Захарович мог себе позволить, если сам был связан обязательством молчать. Самого обязательства я не видел, но по нему было видно, что оно есть.

Родословная книга весила килограмма четыре. Кожа переплёта потемнела до чёрного, корешок треснул и был подклеен; углы страниц в начале истёрты до мягкости, к концу — целые. Бумага менялась по эпохам: сперва плотный тряпичный лист с водяными знаками, потом тоньше и желтее, а последние листы — машинопись на серой бумаге, и её вклеили поверх рукописных страниц. Менялись и почерки: убористый канцелярский, с завитками, потом ровный, без нажима. Я листал её медленно. Так после недель разговоров с людьми, которые отвечают уклончиво, наконец читаешь, как в компании всё устроено на самом деле, — и, честно говоря, мне это нравилось больше, чем следовало.

Пока глаза шли по строчкам, я заодно разложил тех, кого узнал за первую неделю, — привычка: свести путаницу к короткому досье, по строке на человека. Агафон Захарович — архив дома и, кажется, единственная в нём совесть, и он её прячет. Регина Аркадьевна —

порядок и ведомость, в которой посчитаны все, включая меня. Демьян Осипович — молчит, пока не заговорит, а заговорив, гасит любой шум в зале. Всеволод Родионович — мастер не привлекать внимания. Ирина Глебовна — не спорит, запоминает. Пять карточек без единой понятной мотивации.

Записи о прежних патриархах шли подробно, до мелочей: даты обращения, победы в поединках за территорию, дети, внуки, обстоятельства смерти. Где от старости, где в честном поединке за пост; у одного стояло примечание, какой именно техникой нанесён смертельный удар, — полстроки, тем же почерком, без отступа. Своей жестокости история дома не стеснялась, пока речь шла о делах давних.

Никита Владимирович Ряжский. Принятие Главенства Дома — 1889 год. Пресечение полномочий — ноябрь 2016 года. Обстоятельства смерти: несчастный случай.

Всё. Ни дат точнее года, ни описания обстоятельств, ни той канцелярской дотошности, с которой был расписан каждый патриарх дома за три века. Одна строка. Суше и короче любой другой на этих страницах, буквы теснее, чем в соседних записях, и точка в конце поставлена с нажимом — тот, кто это вписывал, задерживаться здесь не хотел.

Я поднёс страницу к настольной лампе и провёл подушечкой пальца по строке. Под пальцем бумага была другой. Вокруг — плотный, гладкий от проклейки лист; здесь, вдоль строки, полоса шириной в два пальца шла шероховато и тоньше, и края у полосы были ровные: верхний слой срезали лезвием, аккуратно, без заусенцев. Глазами я бы этого не нашёл. Кожа теперь читала бумагу, как палец слепого читает точки. Потом сработал нос. Под пылью и дублёной кожей, у самой строки, держался другой запах — кислый, едкий, въевшийся в волокна: страницу смывали чем-то химическим, и смыв не выветрился до конца. Работа была не дилетантская. Лезвие, смыв, новая запись сверху — и всё в расчёте на то, что ни смертный глаз, ни обычный взгляд сородича не станут читать эту страницу так, как читает человек, который ищет, где не сходится.

Сердце — то небольшое, что в новом теле ещё билось, — пропустило удар, и следующий пришёл глухо, в горло.

Подделка в официальной родословной Дома — не нарушение регламента. По законам сородичей это преступление, за которое выжигали целые ветви рода. Тот, кто соскоблил подлинную запись о гибели Никиты Ряжского, скрыл не только расправу над законным патриархом — он расчистил Дамиану дорогу на трон. И Агафон Захарович знал, что я найду в этом шкафу. Он отправил меня именно сюда.

Расследование перестало быть теоретической задачей для адаптации к новой жизни. Теперь у меня в руках была первая зацепка — и вместе с ней чёткое понимание: если кто-то в этом особняке поймёт, какую именно страницу я только что прочитал кончиками пальцев, мой собственный «несчастный случай» впишут в эту книгу задним числом уже к следующему утру.

Глава 7 Кровь как данные

— Ещё раз, — сказал Агафон Захарович. — И на этот раз постарайся вызвать рывок сам, а не ждать, пока это сделает за тебя чужой кулак.

Три недели подряд, каждый вечер, мы занимались в пустом крыле архива — том, где закончили ремонт. За эти недели я выучил, что «постарайся» у него значит «сидим до рассвета, если надо». Я закрыл глаза и стал искать внутри то самое ощущение — нить, что проваливается под ногами за миг до рывка. До сих пор оно приходило только само, без спроса, — не пришло и теперь. Внутри нашлись только раздражение и голод, и голод за последний час подрос.

— Не идёт, — сказал я и открыл глаза. — Третий раз за вечер.

— Идёт, — возразил он, — просто не так, как ты ожидаешь. Ты пытаешься включить это усилием воли, как будто это мышца. Это не мышца. Это дверь, которую открывает не сила, а необходимость. Твоё тело слушается только настоящей опасности, а не твоего желания произвести на меня впечатление.

— Обнадёжил. Значит, чтобы учиться, мне надо раз в неделю оказываться на волосок от смерти.

— Именно поэтому, — сказал он, — я всё чаще думаю, что дело не в тренировке рывка как такового. — Прямо, без подводки; за месяц я к этой его манере почти привык. — Ты сидишь на пороге следующей ступени и не решаешься перешагнуть.

Я моргнул.

— Формирование Ядра Тьмы? — уточнил я. — Ты упоминал об этом вскользь, но без матчасти. Что за чем идёт в вашей лестнице и где на ней я?

Агафон Захарович положил обе руки на спинку старого дубового стула. Взгляд у него стал лекторский: азы, третий семестр, студент опять не читал.

— Очень примитивно, если отбросить велеречивый туман, который так любят напускать молодые хищники вроде Виктора, — сухо начал он. — Первая ступень — Пробуждение Крови, или состояние неофита. В тебе уже есть чужая кровь, твои рефлексy разогнаны, тело не стареет и способно сращивать кости за часы. Но ты — всего лишь решето. Сила входит с пищей и тут же рассеивается в пустоту. И пока ты решето, тебя проще всего потерять: сорвавшийся неофит, который начал брать кровь как попало и где попало, выжигает себе рассудок за считанные месяцы. Получается гуль — бессмысленная, вечно голодная падаль, которую Дом пускает в расход при первой же зачистке.

— Процесс, в котором брак сразу пускают в отходы. Кто это так устроил? — заметил я.

— Потому что это не процесс, а инкубационный период, — отрезал Агафон Захарович. — Вторая ступень — Пробуждение Хищника; её ты прошёл во дворе на рассвете, и прошёл, будем честны, чудом. Тело перестроилось под новую природу, и один случайный луч тебя больше не убьёт. Третья — то самое Ядро Тьмы. Кристаллизация первичного узла. Вся сила, которую ты поглощаешь, перестаёт течь хаотично и связывается в постоянный внутренний контур. С этого момента вампиру открыта Кровавая хватка — воздействие уже не на собственное тело, а на чужую кровь и плоть напрямую. Рывок у тебя и так есть с прошлой ступени; здесь он просто перестаёт быть единственным, что у тебя есть. Дальше — три ступени Тени: Зарождение, Формирование, Трансформация. Собственная тень отделяется от тебя и становится сперва соглядатаем, потом оружием, потом второй твоей шкурой. Седьмая, последняя в этом Шаге, — Восхождение. Выше этой ступени в нашем доме не стоит никто. Дамиан Саввич — на ней же, просто на самом её пике, и старейшины всё равно ниже даже его. А то, что лежит за Восхождением, тебе знать пока рано: досюда доживает один из сотни.

Он замолчал и посмотрел мне в лицо — долго, секунды три.

— Обычно новообращённому требуются месяцы, если не годы изнурительных боёв и литры чужой эссенции, чтобы уплотнить этот узел. Но то, что дремлет в тебе, слишком тяжело для простого неопита. Твой сосуд трещит по швам. Ты либо выплавишь Ядро сегодня ночью, либо твоя собственная кровь разорвёт тебя изнутри при следующем бесконтрольном выбросе.

* * *

Ритуал он провёл в ту же ночь, в самой дальней комнате архива, под сводом. Пафоса не было. На каменных плитах — круг из восковых свечей, оплывших и разного роста, штук двенадцать; на аналое — фолиант, толстый, в кожаном переплёте; посередине круга — я, на голом камне. Агафон Захарович встал за аналой и начал читать. Голос у него сел на полтона ниже обычного, язык был гортанный и старый — ни одного знакомого слова. От этих звуков воздух в комнате загустел, и на каждый вдох теперь уходило усилие: холодный сироп, а не воздух. Эти интонации я уже слышал. Так шептала Дарина в ту ночь, когда вливала в мои разорванные вены своё проклятое наследство.

— Обычно для кристаллизации Ядра неопиту вливают концентрированную кровь сира или поверженного врага, — бросил Агафон в паузе между строфами, и ритм не сбился. — Это даёт готовый шаблон структуры. У тебя шаблона нет — только сырая мощь, которая тебя сейчас пожирает. Не пытайся давить её волей. Заставь её замкнуться в круг.

Формула ударила по вискам — не звуком, а толчками, каждый слог отдельно, и от каждого гудело в затылке. Жар, который неделями бродил у меня в мышцах, вспыхнул разом и ослепил. В груди, там, где когда-то билось человеческое сердце, что-то начало сжиматься — быстро, с ускорением, — и на этом архив треснул и провалился. Свода не стало, пола тоже.

Понял я это только потом, задним числом. Чистой крови для ритуала не было, а значит, со дна поднялась не она — поднялась кровь самой Дарины во мне, и вместе с силой всплыл её собственный слепок той ночи. Воздух в лёгких стал горячим медным пеплом. В уши ударил хруст — влажный, костяной; так ломают не ветку, а сустав. Перед глазами вместо каменного пола стояла кровь, и в ней — картинка. Я не смотрел на неё, я в ней захлёбывался: сквозняк по полу, запах остывающего воска, силуэт в дверях, от которого тело сводило холодом, и совсем рядом — всхлип, глухой, придушенный, и его оборвали сразу. Чей — я понять не успел. Чужая боль, слежавшаяся за годы, шла в меня слоями и снимала мою память слой за слоем: сперва вчерашний вечер, потом четыре года конторы, потом собственное имя. Ещё несколько слоёв, и от меня осталась бы оболочка: голод и ни одной мысли.

Я сцепил зубы до скрежета эмали и сделал единственное, что умел с любым хаосом: сжал его. Схватил этот пульсирующий ком и стал давить внутрь, в одну точку, всем, что было, — так давят на рану, когда бинта нет. Рёбра пошли внутрь, и на миг я решил, что услышу хруст, но не услышал. Из носа на плиты закапало — тёмное, густое, и капли не растеклись, а встали горбиками. Потом сжатие кончилось, и настал штиль — ледяной, мёртвый: узел силы завязался и замкнулся сам на себя, в постоянный контур. Дрожь в пальцах оборвалась, а комната вернулась чёткой до последней трещины в камне — я мог бы пересчитать их, не вставая.

Пламя всех свечей разом вытянулось вверх, в нитку, и погасло с сухим хлопком; воск на них треснул. Плиты вокруг меня, на шаг во все стороны, затянуло инеем — тонким, он хрустел под ладонью. Воздух выморозило так, что в ушах звенело. Я сидел на полу и хватал ртом стылую пыль архива. Болело за глазами и в зубах — в каждом отдельно. В груди стучал новый центр тяжести — ровно, гулко, тяжело; цельный, холодный, и он слушался мысли: я подумал «тише», и он стал тише. В темноте зажглись два огонька, тусклых, на высоте аналая — глаза Агафона Захаровича. Чиркнула спичка. Лицо у него было белое, скулы светлые, и рука со спичкой дрожала. Так выглядит человек, который простоял рядом с миной, пока она решала, рвануть или нет.

— Багровый венчик, — произнёс он глухо и не отвёл взгляда от моих зрачков: в них ещё дотлевал красный отсвет чужой смерти. — Цвет держится не за чистоту крови, а за мощь

самого всплеска: у обычного неопита при кристаллизации глаза едва вспыхивают тусклым янтарём, и на большее у него просто не хватает силы. Такой густой алый я видел только у тех, кто на порядок старше тебя. И то, что ты не сорвался в бешенство прямо сейчас... — Он помолчал пару секунд и стряхнул пепел со спички — медленно. — Либо твой аналитический ум крепче гранита, либо ты просто не понял, на краю какой бездны только что удержался.

— Ощущение такое: череп вскрыли и залили внутрь свинец, горячий, — выдавил я. Челюсти онемели, и каждое слово приходилось разжимать отдельно.

— Зато рассудок на месте, — сухо сказал Агафон Захарович. Стоял он при этом впол-оборота, вес на задней ноге: так стоят, когда ещё не решили, бить или нет. — Первичный контур встал. Теперь проверим, во что отлилась эта сила. Буквально.

Он протянул мне руку: на запястье темнел свежий надрез, ещё не схватившийся, — так у вампиров пробуют только что завязанный узел силы. На бледной коже стояла одна капля и не скатывалась. — Дотронься. Попробуй навязать спазм или импульс боли. Проверим плотность твоей хватки.

Я коснулся капли кончиком пальца. Ждал сопротивления — мышц, которые надо продавить, или рычага, за который тянут, — и не получил ни того ни другого. Меня ударило встречной волной: в сознание разом вывалили чужой архив — не папку, а весь шкаф, без описи и не по порядку. Я не управлял его рукой, я его читал. Во рту появился вкус чужой крови, хотя я её не пил, и на секунду я потерял, чьи это руки — моя на его запястье или его на моём. Капля под пальцем за эту секунду высохла до корки. Слои шли сверху вниз: верхний — сосредоточенность архивариуса, до звона; под ним — тревога за собственную жизнь, въевшаяся и глухая; а на самом дне — вина, старая, без имени и без адреса, из тех, что носят так долго, что она перестаёт быть событием и становится свойством характера.

Я отдернул руку. Агафон Захарович качнулся назад и ударился лопатками о стеллаж — глухо, с полки съехала папка. Пальцы у него побелели: он вцепился в край рукава и зажал порез — от меня, не от крови. Зрачки расширились на всю радужку. Так смотрит человек, у которого только что прочли то, чего он не показывал никому.

— Что это было? — хрипло выдохнул я и прижал гудящие пальцы к виску. — Я не давил на твои мышцы. Я читал. Память, слоями. Я видел то, что ты прячешь: старую вину, последние твои решения...

Агафон долго не отвечал. Дышал тяжело, с хрипом, и всё ещё держал запястье. Маска ментора, которого ничем не удивишь, треснула до конца. Так смотрят на призрак основателя Дома, который вернулся спросить за каждый стёртый абзац.

— Обычная Кровавая хватка — это примитивный силовой перехват, — произнёс он севшим голосом. Слова выбирал по одному. — Она подчиняет чужие волокна, ломает кости через давление воли. То, что сделал ты... это не воздействие на плоть. Это прямое чтение того, что записано в самой крови. — Он опустил взгляд на зажатое запястье и усмехнулся одними уголками губ — от этой усмешки мне захотелось отойти на шаг. — Для большинства сородичей кровь — это бензин и дубина. Но в крови древних ветвей хранится память, законы и нестираемый след каждого предательства. Если Дамиан узнает, что ты способен читать первоисточник без посредников, он не станет отправлять тебя на зачистки. Он сотрёт тебя в пепел до рассвета.

И я уже знал, на чём опробую это первым делом.

* * *

Комнату Дарины я нашёл не сразу. В родословных книгах о ней была пара строк, и те по форме: год, ветвь, положение в роду. Помог случай — обмолвка одного из фамильяров, седой женщины, что застилала постели в восточном крыле уже, наверное, третий десяток лет.

— Молодая госпожа держала комнату здесь, — сказала она, когда я спросил её про историю дома. Спросил между делом, с праздным любопытством в голосе — над ним я работал.

— До того, как ушла жить отдельно. Заперли после того... после всего. Никто её с тех пор не открывал, насколько я знаю. Даже убирать не пускали.

Дверь была в конце самого дальнего коридора восточного крыла — и самого запущенного: пыль на полу лежала ровно, без следов. Заперта она была на обычный ржавый замок. Ни печати, ни проклятия. Просто дом забыл про эту дверь: у него хватало секретов посрочнее, и на этот сторожа не поставили. Замок сломался с первого нажима — язычок вышел вместе с куском ржавой планки. Больше десяти лет он стоял запертым и должен был сопротивляться дольше. Ещё один урок, мелкий и неприятный: новое тело умело больше, чем я успевал за ним замечать.

Внутри пахло пылью и сыростью — старой, из стен. Обстановка стояла почти нетронутой: кровать шириной в одного, шкаф, письменный стол, а на столе — фотографии в рамках, выцветшие до жёлтого. На одной девочка лет семнадцати на вид смеялась рядом с высоким мужчиной, тёмноволосым. Улыбку я узнал сразу, по форме, — месяц назад я видел эту улыбку живой, в последний раз, и узнавать её здесь было больно.

Верхний ящик стола был набит детскими мелочами, которые давно никому не нужны: ленты, засохшие цветы, тетрадь — почерк в ней становился аккуратнее от страницы к странице. Под всем этим, на дне, лежала шкатулка из дерева, с ладонь величиной, и символы на крышке были вырезаны те же самые: из этой шкатулки Дарина в последнюю ночь доставала ритуальный нож. Ножа внутри не было — внутри лежал клочок бумаги, сложенный вчетверо и пожелтевший, и на сгибе темнело пятно, старое, вьевшееся в волокна так, что его не оттереть. Для чернил слишком тёмное.

Кровь. Высохла она десять лет назад. Но я дотронулся до пятна, и пальцы заломило — сразу, до локтя. Значит, для того, что я теперь умел, эта кровь не была мёртвой до конца.

Я сел на кровать — пыль осела на брюки, — развернул листок так, чтобы не размазать пятно, и прижал к нему два пальца.

Жар за глазами вспыхнул первым — раньше картинки, раньше звука. Резче и горячее, чем в архиве с Агафоном Захаровичем. Кровь такой давности брала с меня больше: из того немногого, что у меня оставалось после ритуала, ушла, по ощущению, треть, и ноги под коленями ослабли раньше, чем исчез мир.

Мир исчез.

Не так, как с Агафоном Захаровичем. Там кровь была свежей, и то, что я читал, было хотя бы целым; здесь — слепок катастрофы, побитый временем, и меня швырнуло в него без защиты. Дом молчал: ни шагов, ни голосов, ни одной двери ей навстречу. Никто не проснулся. Никто не пришёл. От этой тишины было страшнее, чем от крика. Под подошвами хрустело битое стекло, и я чувствовал её бег: сердце колотилось в рёбра часто, со сбоями, быстрее, чем сердце вообще может биться. За спиной шёл кто-то ещё — дышал ровно, шёл не торопясь, потому что торопиться ему было незачем. Она звала отца — раз, другой — и оба раза в ответ была та же тишина; она звала дальше, потому что на самом дне уже знала ответ и всё равно не могла перестать.

Картинка пошла рябью, красной, полосами — так рябит изображение с заезженной плёнки. Сквозь помехи на секунду проступил силуэт — высокий, в плечах широкий, он стоял в дверном проёме и не двигался, потом медленно повернул голову в её сторону. Ещё миг — и из темноты вышло бы лицо, но кровь на сгибе отдала последнее, что в ней было. Слепок схлопнулся с треском — дверь захлопнули у меня перед носом.

Я выровнял дыхание — вдох на четыре счёта, выдох на четыре — и разложил вспышку на приметы, которые можно проверить. Лицо убийцы скрыл дым, тело — нет: тяжесть в посадке плеч, рост под метр девяносто, клинок в обратном хвате — так держат армейский нож, а не вампирский ритуальный стилет. В Доме Чёрной Луны такой статью и такой выправкой, военной, обладал один сородич — Дамиан Саввич.

Версия архива — «несчастный случай», унёсший патриарха, — только что рассыпалась в пыль. Боя не было. Борьбы не было. Ни одного голоса, который поднял бы дом на ноги. А патриарха седьмого ранга без боя и без шума не убивают. Тишина здесь не случайность, а условие: убийцу впустили, он знал дом изнутри, и где искать жертву, ему объяснять не пришлось. Дарина сберегла этот клочок не из детской тоски. Она оставила улику — и десять лет ждала того, кто сумеет её прочитать.

Я аккуратно свернул листок, спрятал шкатулку обратно под слой выцветших лент и поднялся на ноги. Замок на двери восточного крыла был сломан, а значит, таймер уже тикал: если в доме заметят вскрытую комнату раньше, чем я успею зачистить следы, охота начнётся прямо этой ночью.

Глава 8 Поручение

Дамиан Саввич вызвал меня лично — впервые с той ночи, когда огласил свой вердикт. Слепок бойни у камина ещё стоял перед глазами: дым, силуэт в дверном проёме, клинок обратным хватом. Вызов был хозяйственный, обычный. И всё равно я шёл по коридору к палачу Дома, как по лезвию, и считал шаги, чтобы не считать пульс.

Кабинет оказался единственной комнатой в особняке без разрухи: тёмное дерево, бумаги стопками по краю стола, ни пылинки на полках. Но смотрел я не на полки, а на фигуру за столом. Те же метр девяносто, та же посадка плеч — спина не касается спинки кресла, плечи развёрнуты, как на плацу. Те же скупые движения рук, которыми он перебирал листы: ни одного лишнего. Силуэт из кровавого слепок десятилетней давности сидел в трёх шагах от меня и читал. Ядро под рёбрами дёрнулось и застучало чаще. Я придавил его усилием, выровнял пульс и сложил руки за спиной, чтобы ни один палец меня не выдал.

— Ты быстро растёшь. — Головы от бумаг на столе он не поднял. — Формирование Ядра меньше чем за два месяца. Второй неконтролируемый рывок. Агафон Захарович делится своими наблюдениями с некоторой регулярностью, ты, наверное, в курсе.

— Не был в курсе именно этой формулировки, но не удивлён, — ответил я. Голос вышел сухим и рабочим — тем, каким я четыре года отвечал начальству на планёрках, когда от меня ждали испуга. Здесь этот тон был щитом от внимания хозяина кабинета. Глаз он на меня пока не поднял, но внимание я чувствовал кожей.

— Меня это не радует и не пугает — пока. — Он отложил лист и наконец поднял глаза. — Меня это интересует практически. Дом нуждается в людях, способных выполнять поручения за его пределами, а не только мыть полы внутри него. У тебя есть шанс доказать полезность в чём-то более существенном, чем ступени.

Он протянул мне конверт — тонкий, белый, без единой надписи.

— Заведение на Мясницкой, формально принадлежит одному из наших фамильяров — небольшой бар, прикрытие для части наших дел с человеческой стороной. Хозяин задолжал дому по обязательствам два месяца назад и с тех пор находит всё более изобретательные способы этого не замечать. Заберёшь то, что причитается, — сумма указана внутри, — и вернёшься. Задача для младшего члена дома, не требующая внимания кого-то более значимого.

— Звучит как поручение для стажёра, которому нужно набить руку на чём-то безопасном. — Я вскрыл конверт. Внутри лежала записка в несколько слов; сумму я прочитал дважды и запомнил.

— Именно так это и стоит воспринимать. — В голосе не было ничего, за что я мог бы зацепиться: ни лжи, ни недоговорки. Ровный тон человека, который давно говорит ровно столько, сколько нужно, и ни слова сверх. Он смотрел мне в лицо и не моргал. — Возьми с собой того, кому доверяешь ориентироваться среди людей. Возвращайся до рассвета. Это всё.

Он опустил глаза к бумагам, и аудиенция закончилась так же, как началась, — без перехода. Я вышел и прикрыл за собой дверь. Замок щёлкнул тихо.

* * *

Я нашёл её на кухне: из всех комнат дома эта выглядела самой обжитой — и всё равно сидеть в ней не хотелось. Плита советского образца, нагар на конфорках в палец толщиной, который не отскребло ни одно поколение фамильяров; трещина через весь потолок под пожелтевшим скотчем — судя по цвету, клеили ещё при прошлом хозяине. Даэлла сидела на подоконнике с чашкой в руках. Чашка дымилась, но чаем оттуда не пахло.

— Мясницкая, значит, — сказала она, когда я объяснил поручение — без подробностей, только адрес и долг. — Знаю это место. «Три ворона», хозяин — Славик, скользкий тип, но

не самоубийца. Странно, что он вообще решился динамить долг дому — обычно это самый быстрый способ нажать проблемы похуже штрафа.

— Может, у него закончились деньги раньше, чем закончилась храбрость.

— Может быть. — Она покрутила чашку в ладонях и на секунду задержала взгляд на окне: не поверила, но развивать не стала. — Слушай, раз уж тебя отправляют к людям — а ты у них не был с той ночи, когда тебя самого туда, по сути, притащили насильно, — пара советов. Не свети зубами без крайней нужды, привыкай контролировать голод заранее, а не когда тебя уже начнёт вести. И самое главное — с людьми, даже с теми, кто в курсе про нас, не ведёшь себя как вампир из фильма. Ведёшь себя как коллектор, которому нужны деньги, а не спектакль.

— Разумно. — Сравнение легло само — слишком удобное, чтобы промолчать. — Значит, по сути, это коллекторы. В самом буквальном, средневековом смысле.

Она фыркнула, но потом поставила чашку на подоконник, и лицо у неё стало другим — за секунду, без перехода. Прочитать эту смену сразу я не сумел.

— Хочешь, пойду с тобой? Не потому, что не справишься. Просто... вторая пара глаз лишней не бывает, особенно в местах, куда дом отправляет людей, которых, скажем прямо, не особо жалко потерять.

Сказано было легко, почти шуткой, но на слове «потерять» она посмотрела не на меня, а на свои пальцы, и пальцы сжали край подоконника. Тревога внутри этой фразы была настоящей. Я задержал взгляд на её лице на секунду дольше, чем следовало. За последние недели это случилось не в первый раз: я не понимал, где в её заботе кончается искренность и начинается то, что построил в неё сам этот дом, — и не в первый раз откладывал этот вопрос, потому что сейчас мне было откровенно не до него.

— Приказ был — взять того, кому доверяю. Ты подходишь по обоим пунктам.

— Значит, договорились. — Она спрыгнула с подоконника и улыбнулась. Улыбка была уже обычной, без тревоги.

* * *

Пока я собирался, в глаза попали ещё три детали. Тогда я принял их за обычный шум дома — и, вероятно, зря.

Виктор столкнулся со мной в коридоре у выхода, оглядел меня сверху вниз, медленно, и взгляд задержался на манжетах — там ещё могла остаться пыль восточного крыла. Я ждал привычной враждебности. Её не было. В глазах стояло ожидание, холодное и голодное, — так смотрят на человека, который уже встал обеими ногами на мину и ещё об этом не знает. Он прошёл мимо и не сказал ни слова. Молчащий Виктор пугал сильнее Виктора с угрозами.

В окне мелькнула Регина Аркадьевна: стояла и смотрела на нас с Дазллой в дверях, и губы у неё шевелились — она считала. По лицу читалось, что именно: во сколько дому обойдёмся мы вдвоём.

А Агафон Захарович не появился. Обычно перед любым моим выходом за ворота он находил меня хотя бы на пару слов. В этот вечер его не было нигде: не то занят, не то, против обыкновения, недоступен вовсе.

По отдельности ни одна из трёх деталей не значила ничего. Вместе они не сходились с обычным вечером. Четыре года разбора чужих контор вбили в меня одно: три совпадения подряд — не совпадение, а процесс, и у процесса есть заказчик. Картину целиком я не видел. Видел только её край, и край зудел: меня отправляли не с поручением, а на испытание, и правил мне заранее не сообщили.

Я отложил и это. Мясницкая — одна из самых людных улиц ночной Москвы: бары до утра, прохожие в любой час. Не то место, где ждут засады.

* * *

«Три ворона» оказались ровно тем, что обещало название: тесный зал, кирпич без штукатурки, чёрный потолок, гул голосов, звон стаканов и запах пива. Дазлла провела меня через

зал к двери за барной стойкой — узкой, без таблички, в цвет стены. За ней, по её словам, был кабинет хозяина.

Славик сидел за столом: невысокий, лоб мокрый, глаза бегали от двери к нам и обратно — так смотрит человек, который слишком давно должен кому-то опаснее банка. Увидел нас — и побледнел.

— У меня сейчас нет всей суммы, — начал он раньше, чем я открыл рот. — Но через неделю, максимум две...

— Дом не интересуют твои сроки, — сказал я. Ровно, с весом в голосе — так говорит человек, который собирает долги, а не бывший тимлид, который до сих пор вздрагивает при слове «конфликт». — Дом интересуется сумма, указанная здесь. — Я положил записку на стол перед ним и придавил её пальцем.

Славик посмотрел на бумагу, потом на меня. Потом — за мою спину, на дверь в глубину бара, в подсобку, — и взгляд задержался там дольше, чем следовало.

Под рёбрами ударил холод — без предупреждения, знакомый: тот самый, что однажды сдёрнул меня из-под рухнувших лесов, тот самый, что дважды прорывался рывком, когда опасность была настоящей. Только теперь он не требовал действия сразу. Он говорил — тихо, ясно, одним словом, и за последний месяц я научился это слово не пропускать.

Ловушка.

Задняя дверь кабинета грохнула о стену, и из темноты подсобки шагнули трое — в глухой тактической экипировке, у каждого короткий дробовик у плеча и на цевье линза ультрафиолетового стробоскопа из фиолетового стекла. Запах дошёл раньше света: азотнокислое серебро и оружейный нагар. Он обжёг нос и горло, и спутать эту вонь было не с чем.

Нас продали. Думать об этом было некогда: стробоскопы ударили по глазам, ультрафиолет резанул по сетчатке, но мозг уже разложил комнату на секторы — трое в проёме, три ствола, между ними и нами только стол. Тело сработало раньше меня, на унаследованной силе: я рванул вперёд, перехватил край тяжёлого дубового стола Славика и одним движением вывернул его вертикально — глухой щит между нами и стволами, — и тут же грянул первый залп.

Тяжёлая серебряная картечь со звоном и треском вгрызлась в толщу дерева, выбивая фонтаны щепы, мгновенно занявшейся едким дымом от химической пропитки. Я намертво зафиксировал импровизированный бруствер, чувствуя, как импульсы кинетического удара отдаются в суставах, и мгновенно просчитал интервал между выстрелами.

Глава 9 Ловушка

Первому из троих карточка прилетела назад, рикошетом от дубовой столешницы ему же в лицо. Он зажмурился на полсекунды, и выпад остался недоведённым. Полсекунды мне хватило: я просчитал, куда пойдёт клинок, рванул в сторону и утянул Даэлла за собой — в проём между столом и стеной шириной в одно плечо.

Клинок метил мне в шею. Тяжёлый, с матовым серебряным напылением, он свистнул там, где только что была моя голова, и вошёл в расколотую столешницу. Не отскочил — ушёл в дуб на ладонь, как в масло. Обычный человек так не бьёт. Даже мне, с чужой силой в крови, пришлось бы вложить в такой удар всю массу тела — и то не сейчас, не после неполного месяца тренировок.

— Не люди. — Даэлла отскочила к другой стене и сорвала с полки первое, что попало, — тяжёлую бутылку, за горлышко, донцем вперёд. — Арсений, это не люди.

— Заметил.

Под рёбрами снова пошёл холодок, тот самый. Только теперь не вспышкой на секунду, а ровным гулом без перерыва; тело перестало считать это событием и просто работало.

Второй обошёл стол. Крупный, стрижен под машинку, и двигался он так же, как те, кто вломился ко мне в квартиру в ночь обращения, — слишком плавно, без рывков в суставах, будто всё тело вели на одной верёвке. Замаха не было. Он шёл не убивать, а сбить с ног и зажать, весом. Я вспомнил Агафона Захаровича — *дверь открывает не сила, а необходимость* — и потянулся к рывку сам. Кажется, впервые: раньше это делал за меня чужой кулак.

Рывок пришёл — грубее, чем на тренировках у Агафона Захаровича, но пришёл. Мир качнулся, под грудиной открылась та же пустота и потянула из меня, как игла из вены, — только не в пробирку, а в никуда. Два шага я не помню. Я оказался у него за спиной раньше, чем он начал разворот. Удар в основание черепа — ни техники, ни замаха, просто вся масса тела в одном броске — уложил его лицом в пол. Я вдавил колено ему между лопаток, пока он не поднялся. Под коленом хрустнуло. В горле сразу стало сухо — рывок берёт кровью, и она ушла.

Крик Даэлла за спиной оборвал всё, что я мог бы сделать дальше.

Я обернулся. Третий уже бросил карабин — затвор заклинило — и полоснул её по предплечью. Лезвие с серебрением, разрез от локтя к запястью: не насмерть, но глубоко, края разошлись сразу. В нос ударило азотнокислым серебром, химией, от которой слезятся глаза, и сверху — её кровью, горячее. Всё, чем я привык думать, отключилось на одну секунду. Осталась одна точка: он, и на его лезвии — её кровь.

Дальше я помню начало и помню результат. Середины нет — там, где я обычно раскладываю угрозу на части и прикидываю, что вероятнее, стоит пустое место. Запах её крови был густой и горячий, серебро в нём шипело, как соль на сковородке. Он прошёл через всё, что я годами в себе выстраивал, за один вдох. Перед глазами потемнело в багровое. В Ядре что-то сорвалось с привязи — старше меня, голоднее меня, и жалеть оно не умело.

Команды мышцам я не отдавал. Кабинет сжался до одной точки — его горла. Выстрелы, звон стекла, крик — всё ушло под один звук: его пульс, громкий, в самые уши. Три метра между нами я не помню: рывка не было, комната просто оказалась другой. В ней была стена, он у стены и моя рука у него под подбородком. Челюсть светло, клыки вышли до ноющей боли в дёснах. Пальцы легли на бронежилет и смяли титановую пластину, как фольгу от шоколада; он въехал спиной в бетон, и бетон дал трещину.

— Арсений! — Голос Даэлла сорвался на верхней ноте; она вцепилась здоровой рукой мне в плечо и потянула назад, всем весом, какой был. — Арсен, стой! Твои глаза... посмотри на меня, дыши! Не смей жрать его, ты убьёшь нас обоих!

Я замер. Рука занесена, он подо мной обмяк, пальцы дрожат в двух сантиметрах от его горла. Остановила меня не моя воля, а её голос и её рука на плече; сам я не остановился бы, и это я понял раньше всего остального. Жар за глазами уходил медленно, по градусу. Пока он уходил, я считал: секунда, две, три. На четвёртой я знал, к чему подошёл, — к тому, что живёт во мне и о чём я предпочитал не думать. Расстояние до него было два сантиметра.

Я разжал пальцы. Третий сполз по стене, по крошеву бетона, и сел на пол с открытыми глазами; глаза ничего не видели. Первый лежал у дверного косяка без сознания — как он туда попал, я тоже не помнил, — а его тесак с серебрением так и торчал в расколотовой столешнице. Второй хрипел на полу; рёбра у него были сломаны, дробовик валялся рядом в битом стекле.

Руки ещё дрожали, но голова уже работала — привычка. Я присел к дробовику. Короткий помповый, номера с завода спилены, патронник подогнан вручную под заряд тяжелее штатного; гильзы с маркировкой, не заводской — набитой от руки. Картечь из серебра, травленного концентрированным нитратом: рана от неё у сородича не затягивается. Тесак в столешнице — тоже не армейский штык из ближайшего военторга: чернение матовое, химическое, а баланс смещён к острию, под удар в шею. Под вампирскую шею. Славик такое не собрал бы за вечер. Комплект готовили под нас: те, кто готовил, знали час, знали, кто придёт, и знали, чем нас брать.

— Это Пепельная Заря, — сказала Даэлла, когда я показал ей маркировку на гильзе. — У них своя контора под такие заказы. Если снаряжение готовят под вампира, то и исполнителя подберут под цель. Там есть один, Гронский. Надеюсь, ты с ним никогда не встретишься.

* * *

Мы вышли через чёрный ход; Славика в подсобке уже не было, и у двери на улицу тоже. Дальше всё шло короткими решениями, одно за другим: переулок; такси, поймали на соседней улице, подальше от «Трёх воронов»; водителю — что подруга порезалась стеклом, и он посмотрел на её рукав, на меня и поверил, или сделал вид.

Машина тронулась, вывеска бара ушла за поворот, и только тогда я посмотрел на её руку по-настоящему. Разрез глубокий, но кровь уже не текла — сочилась, и с каждой минутой меньше. Человека с такой рукой везли бы в травмпункт, а она сидела и смотрела в окно.

— Заживёт. — Она поймала мой взгляд и улыбнулась одним углом рта; второй остался на месте. — Пара дней, максимум неделя. Не в первый раз меня режут на этой работе.

— Прости. Тебе не стоило идти со мной.

— Заткнись, — сказала она беззлобно. — Я сама вызвалась, помнишь? И это не ты меня порезал.

Я промолчал. Часть меня ещё стояла в том кабинете, с рукой у чужого горла, — человека, не человека, вампира, в ту секунду разницы не было, — и на отпущение эта часть не рассчитывала. Пальцы я держал на колене, и они уже не дрожали.

— Кто они? — спросил я, когда нашёл тему безопаснее. — Не наши. Слишком слаженно двигались для случайных бандитов, слишком... неправильно, для людей.

— Не знаю. — Обычно в её ответах оставалось недосказанное, сейчас — нет: она смотрела прямо, и пальцы здоровой руки сжимали край сиденья. — Но кто-то знал, что мы будем именно там, именно сегодня. Случайные грабители так не работают.

Мысль, которую я гнал от себя всю дорогу от бара, дошла до слов, а отмахнуться от слов я уже не мог.

— Виктор странно на меня посмотрел перед выходом. — Я разбирал вечер по порядку — так я разбирал бы любое дело, где не сходится, — и загибал пальцы. — Регина Аркадьевна следила за нами из окна. Агафон Захарович весь этот месяц находил для меня две минуты перед выходом, а сегодня не нашёл. По отдельности — ничего. Вместе...

— Вместе это ничего не доказывает, — сказала Даэлла резко, резче, чем нужно, если она хотела того же ответа, что и я. — Совпадения случаются. Ты же сам говорил — анали-

тик, который умеет искать закономерности. Так вот: иногда закономерности — это просто три отдельных, не связанных друг с другом факта, которые твой испуганный мозг пытается связать, потому что связанная версия менее страшна, чем случайная.

— А если это не совпадение? — спросил я тихо. — Если Дамиан отправил меня туда и знал, что оттуда я не вернусь?

Она ответила не сразу, и я считал: три секунды, четыре, пять. За пять секунд «нет» говорят дважды, а она не сказала.

— Тогда тебе прежде всего нужно решить, что ты будешь делать с этим знанием, если оно окажется правдой. Потому что обвинить главу дома в покушении, не имея ничего, кроме трёх странных взглядов и одной сорвавшейся засады, — это не расследование. Это самоубийство.

Такси шло по ночной Москве, я смотрел в окно — огни, мокрый асфальт, стёкла встречных, — а под кожей ещё дрожал отзвук рывка мелкой дрожью в предплечьях, и пить хотелось, и не воды. Ниже, под этим, скреблось то, чем я едва не стал в кабинете Славика; оно не ушло, оно просто легло.

Даэлла была права в одном: доказательств у меня не было — ни того, что Дамиан подстроил ловушку лично, ни того, что не подстроил. Было три взгляда перед выходом, все три — мимо меня, и это не сходилось: весь месяц на меня смотрели, а в этот вечер — мимо. Проверить это я не мог: любая проверка начиналась с вопроса, а вопрос пришлось бы задать тому, кто держит мою единственную оставшуюся жизнь, — и задать раньше, чем я к этому готов.

Я мог промолчать. Мог сделать вид, что ничего не заподозрил, — продолжать расти тихо, копить силу и доказательства, пока не наберётся достаточно и того и другого, чтобы действовать наверняка.

Или мог рискнуть — прямо спросить, прямо надавить, посмотреть, как он отреагирует на прямой вызов, зная, что если моя догадка верна, это может стать последним разговором в моей короткой посмертной жизни.

К тому моменту, когда такси остановилось у ворот особняка, я так и не решил, какой из этих путей выбираю, — и понимал только одно: тянуть с этим выбором долго я себе позволить не мог.

Глава 10 Цена реликвии

[18+ — глава содержит откровенную сцену]

Я не спросил Дамиана напрямую. Три дня после «Трёх воронов» мы держали равновесие, и к вечеру третьего у меня от него ныла шея: я был вежлив и исполнительен, как всегда, он не подавал виду, что заметил во мне хоть каплю подозрения. Менялось одно. В коридорах дома я теперь слушал собственные шаги и ждал, что из темноты снова выйдет кто-то с ножом.

* * *

За мной прислали на следующий вечер после засады — в тот же кабинет, где тёмное дерево по-прежнему не знало пыли. Я засёк время, закрывая за собой дверь: привычка с плёнкой, где всё, что тянется дольше пяти минут, идёт не по плану. Дамиан Саввич сидел за столом с бумагами и головы не поднял.

— Деньги?

— Нет.

— Значит, поручение не выполнено.

Ровно, без нажима — как читают строку из ведомости. Я подождал вопроса ещё секунды три и понял, что ждать нечего.

— В подсобке ждали трое, — сказал я. — Вооружённые. Славик знал, что мы придём, и знал, кто мы: он смотрел на дверь подсобки раньше, чем она открылась.

Дамиан дослушал, не переспросив ни разу.

— Заведение — прикрытие дома. Что там произошло, дом разберёт сам. Долг от этого не уменьшился. Он был за тем, кого посылали, и остаётся за ним.

У меня была ещё одна фраза, и я держал её наготове, как последний аргумент на совещании: карточка травлена серебром, клинок сбалансирован под шею, трое пришли к часу, который знали только в этом доме. Засаду собирали под меня — и собирал не Славик. Фраза стояла у самого горла. Я посмотрел на руки, перебиравшие бумаги, — те самые, из слепка у камина, — и проглотил её. Даэлла была права ещё в такси: с тремя взглядами и одной сорвавшейся засадой это не расследование.

— Это всё.

Он вернулся к бумагам. Я вышел и в коридоре свёл счёт: две минуты с небольшим. За две минуты глава дома спросил меня об одном — о деньгах. Не спросил, кто стрелял, чем и откуда у троих в подсобке был точный час моего прихода. О Даэлле, вернувшейся с его поручения с распоротым предплечьем, — ни слова.

Я разложил это и получил самый простой ответ из возможных: ему было всё равно. Я был пунктом в списке, пункт не закрылся, и ничего другого в этом кабинете веса не имело. Безразличие — не заговор. С безразличием можно работать; с ним можно даже жить.

Я принял этот ответ, потому что он был дешевле остальных.

* * *

Даэлла в эти дни была рядом чаще обычного. То ли из чувства вины, то ли рана на предплечье давала законный повод не отходить от меня далеко. Но день ото дня в ней прибавлялось чужого веса: отвечала на полсекунды позже, чем спрашивали, дважды за вечер посмотрела на дверь, в которую никто не входил. О том, что на неё давило, она не говорила — не могла или не хотела.

— Тебя вызывал Дамиан, — сказал я вечером третьего дня. Я застал её у окна коридора; она смотрела в стекло, а не сквозь него, и этот взгляд я видел у неё всё последнее время. Не вопрос — утверждение: мелочей за три дня набралось больше, чем хватило бы на догадку.

— Спрашивал, как прошло задание, — сказала она, не оборачиваясь. — Формально. Ничего особенного.

— Даэлла.

— Что? — Она наконец повернулась. На секунду у неё было лицо человека, которого загнали в угол, — потом рот снова сложился в привычную лёгкую усмешку. — Ты вправду хочешь знать все подробности каждого разговора, который у меня случается с главой дома? Потому что, поверь, большинство из них скучнее, чем ты думаешь.

Я не стал давить дальше. Та часть меня, что всё ещё раскладывала по полочкам обрывки последних недель и искала в них хоть какой-то смысл, понимала: у Даэллы своя цена за то, что она держится рядом со мной. И, возможно, я пока не готов узнать, в чём именно эта цена.

* * *

В ту ночь я не спал. Точнее, не делал того, что заменяло мне сон в новой физиологии: лежал в темноте своей комнаты, смотрел на трещины в потолке и снова и снова прокручивал те несколько секунд в кабинете Славика. Пальцы застыли в паре сантиметров от чужого горла. Та часть меня, что была голодной и ничего человеческого в себе не имела, останавливаться сама не собиралась.

Ты становишься тем, чем она боялась, что ты станешь, прошептал холодный голос внутри — не аналитик, а тот, кто старше аналитика и честнее его. *Кровавое возмездие или Кровавое безумие. Она сама не знала, что видит.*

Дверь открылась, и я этого не заметил. Матрас качнулся под чужим весом — только тогда я понял, что уже не один.

— Не спится? — тихо спросила Даэлла и села на край кровати. Темноту я теперь видел не хуже дневного света. Лицо у неё было мягче, чем днём: ирония, которой она прикрывалась при всех, осталась где-то за дверью.

— Разучился, кажется, — сказал я. — Или тело просто больше не считает это обязательным.

— Я про другое, — сказала она, и два её пальца легли мне на запястье — веса в них не было почти никакого. — Про то, что творится у тебя в голове с той ночи в баре.

Я хотел отшутиться. Сухой тон был у меня отработан за годы, за ним я прятался ещё живым, задолго до того, как перестал быть живым в привычном смысле. Вместо этого сказал правду.

— Я едва не убил безоружного человека голыми руками, — сказал я тихо. — И часть меня в тот момент этого хотела. Не для защиты. Не потому, что было нужно. Просто хотела.

— И это делает тебя чудовищем? — спросила она.

— А разве нет?

Она молчала долго — я досчитал до двенадцати и бросил считать. В этом молчании сочувствия было больше, чем вместили бы любые слова утешения.

— Я обращена почти семьдесят лет, — сказала она наконец. — И скажу тебе то, что ни один из здешних старейшин никогда не скажет вслух: голод, который в тебе есть, — не поломка. Это просто то, чем мы стали. Вопрос не в том, есть он в тебе или нет. Вопрос в том, что ты выберешь делать в следующий раз, когда он снова заговорит громче, чем ты.

Голос у неё сел — усталый, без обычной лёгкости, которой она отгораживалась, и в нём не было ни одного слова, сказанного ради меня. Он тронул меня сильнее, чем я готов был признать. Я повернулся к ней. Между нами в темноте оставалось сантиметров двадцать, и секунду назад я этого не знал.

— Даэлла, — начал я. Что скажу дальше, я не знал.

— Не надо, — тихо сказала она, и её пальцы легли мне на щёку. Тонкий ободок тёмного кольца на её безымянном пальце обжёг кожу — сразу, жаром, которого в металле на живой руке быть не могло. — Не сейчас. Никаких разумных возражений. Просто дай мне побыть рядом с кем-то, кто хотя бы на одну ночь не притворяется, что всё под контролем.

Я попытался разобрать это, как разбирал всё, — и не успел. От места, где кольцо коснулось щеки, по венам пошла волна, вязкая и сладкая, и дошла до затылка раньше, чем я успел её назвать; всё, чем я обычно останавливал себя, она просто выключила. Я не отстранился. Глаза у Даэлла блеснули мутно, как в жару: реликвия работала в обе стороны — пьянила и носителя, и жертву, и у обоих отнимала то, что заставляет отдёргнуть руку.

Дальше воля уже не участвовала. Кольцо требовало всего контакта, какой возможен между двумя телами, — будто древний артефакт не мог раскрыться и сработать, пока между ним и мной оставалась хоть одна прослойка: ткань, расстояние, слово. Её губы врезались в мои — вслепую, с жадностью, в которой не было ничего от неё дневной. Мы сдирали друг с друга одежду, и в комнате стало жарко — не от тел, а изнутри головы, и от этого жара не хватало воздуха.

Кольцо било по вампирским чувствам, и они отвечали на всё сразу и сильнее, чем нужно. Кожа у неё была горячая, под моей ладонью на её шее пульс сбивался и догонял сам себя, запах её тела шёл прямо в голову, и по отдельности я уже ничего из этого не различал. Даэлла стонала мне в ключицу, пальцы впивались в плечи — и в её движениях было не желание, а то же подчинение дурману, что и во мне; кольцо тянуло нас обоих.

На пике, когда между нами не осталось ничего — ни ткани, ни расстояния, — кольцо на её руке получило то, чего ждало. Дурман дошёл до края, и металл на её пальце остыл. Холод от него прошёл внутрь, к самому Ядру, и открыл туда канал — не в тело, а в то, что я помнил.

Мир качнулся. Меня выбило из комнаты, и не только из неё: сквозь эйфорию и чужое голое тело в меня вошёл щуп, тонкий и невидимый, прошёл в то, что я никому не показывал, и снимал оттуда образ за образом — аккуратно, не пропуская ни одного.

Даэлла вздрогнула и на миг замерла, прижатая ко мне. Сквозь муть в её глазах проступило трезвое — ужас: она видела то же, что и щуп, и видеть этого не хотела.

Дальше воспоминания рассыпались. Жар тел, в котором таял холод прошлых недель. Чужой след, который шёл по тому, что не зажило: по последней секунде жизни Дарины, по переливам её крови на полу, по страху, который я не открывал никому.

Диверсию я тогда не распознал: реликвия и мысль, что здесь-то мне ничего не грозит, работали на одно. То, что меня вывернуло наизнанку, я списал на близость — решил, что у вампиров это в природе и что мы просто разделили одну боль на двоих.

Потом морок сходил медленно, и там, где он был, в теле оставались пустота и озноб. Мы оба лежали в темноте. Что Даэлла плачет, я понял не сразу: без звука, лицом к стене, руку с кольцом она прижала к груди и держала так, как прячут улику предательства, которое уже совершено.

— Что не так? — Я приподнялся на локте.

— Ничего. — Голос сорвался. Она быстро стёрла слёзы ладонью и глаз на меня не подняла. — Просто... мерзко. Забыла, каково это — платить за приказы собственной шкурой.

Слово «приказы» царапнуло — короткое, лишнее для случайного разговора о задании. Я отложил его туда же, куда в последние дни складывал десяток других мелочей, которые по отдельности ничего не значили.

Я поверил ей. Мне хотелось ей верить: за последние недели у меня не осталось ничего, на что можно было опереться, кроме этого — тёплого тела рядом и тишины, в которой никто ничего не требовал.

Что её пальцы сжали простыню — в кулак, до белых костяшек, будто её тошнило от самой себя, — я тогда не заметил. И взгляд, которым она окинула меня перед тем, как отвернуться в темноту, я разобрал только потом, когда возвращался к этой ночи раз за разом. Вина. Тяжёлая, из тех, с какими стоят у могилы, — вина человека, который только что против воли продал чужую жизнь ради собственного спасения.

Сознание провалилось в оцепенение — не в человеческий сон, а в тяжёлое, вязкое забытьё, когда истощённое Ядро и уставший мозг просто перестают слышать мир снаружи. Впервые за три дня я уходил в этот вампирский анабиоз с редким, почти наивным ощущением, что хотя бы одна вещь в моей жизни наконец стала проще.

Я ошибался.

Глава 11 Протокол на одного

Агафон Захарович пришёл за мной сам, и уже по этому я понял, что день будет нерабочий.

За два месяца в доме у нас сложился ровный, почти корпоративный распорядок: он ждал меня в архиве или во внутреннем дворе, я приходил, мы работали до изнеможения, он отпускал. Он никогда не приходил ко мне. В доме, где расстояние до человека измерялось не метрами, а тем, кто к кому идёт, это была не мелочь.

— Одевайся, — сказал он от двери. — Не для тренировки.

— А для чего?

— Для протокола.

Он не стал уточнять, и я не стал спрашивать. Я умылся, натянул то, в чём не жалко было бы истечь кровью, и всё это время пытался понять, откуда взялось ощущение, что пол под ногами накренился на пару градусов, пока я спал.

Ощущение было не метафорой. Со вчерашней ночи у самого основания Ядра стояла ровная тупая ломота — так ноет мышца, которую растянули во сне: ни размять, ни забыть. Я списывал это на перегрузку последних недель — резерв отзывался вяло, с задержкой, и на пробном мысленном рывке я насчитал процентов семьдесят от того, что должно было быть. Не катастрофа. Просто не тот запас, с которым выходят в незнакомую комнату.

— Агафон Захарович, — сказал я в спину, когда мы уже шли по галерее. — Скажите хотя бы, кто в комнате.

— Все, кому положено, — ответил он, не оборачиваясь. — И один, кому не положено, но он всё равно там будет.

* * *

Малый зал был подготовлен для процедуры, а не для разговора: стулья сдвинуты к стенам, ковёр скатан и унесён, обнажённый паркет присыпан тонким слоем сухого песка — так делают там, где заранее знают, что на полу будет мокро.

Регина Аркадьевна сидела за приставным столом с раскрытой тетрадью и уже начатой строкой. Не с чистым листом. Строка была начата до моего прихода, и я поймал себя на том, что первым делом посчитал, сколько времени они обсуждали это без меня.

— Арсений, — сказала она, не поднимая глаз. — Садиться не нужно, это недолго.

Вдоль дальней стены стояли свидетели: двое старших обращённых, которых я знал в лицо и не знал по именам, кто-то из младших, жавшихся ближе к выходу. И Даэлла — у самой двери, в трёх шагах от порога, будто оставила себе путь отхода.

Она смотрела в пол и головы не подняла ни разу. Только крутила на безымянном пальце тонкий тёмный ободок кольца — туда и обратно, туда и обратно, как крутят обручальное, когда не знают, куда деть руки.

Все в этом зале смотрели на меня с разной степенью любопытства — так смотрят на прибор, который сейчас включают в сеть, чтобы увидеть, что он покажет. Все, кроме неё.

Я тогда решил, что ей тяжело смотреть на то, что со мной сейчас сделают. Это была лестная для меня версия, и я выбрал её не потому, что она была вероятнее, а потому, что она была теплее.

— Пункт первый, — Регина Аркадьевна перевернула лист. — Четыре дня назад член дома, находящийся под опекой, подвергся вооружённому нападению вне дома. Нападавшие располагали снаряжением, подобранным против вампира. Это установлено. — Она наконец подняла на меня глаза, и в них не было ни капли враждебности, что почему-то было хуже враждебности. — Дом обязан внести это в реестр. Проблема в том, что у нас нет строки, в которую тебя вписать.

— Я думал, я вписан, — сказал я.

— Ты содержишься, — поправила она. — Это другая графа. Содержится имущество, содержатся гости, содержатся те, чей статус не установлен. Пока в реестре стоит «содержится», нападение на тебя — порча имущества дома, и разбирается оно как порча. Если ты член дома, это нападение на дом, и разбирается оно иначе. Мы не можем требовать ответа, не назвав, что именно у нас пытались отнять.

Та часть меня, которая никогда не спала, отметила изящество конструкции с холодным уважением. Мне не отказывали в защите. Мне объясняли, что защита не подключена, потому что в анкете не заполнено обязательное поле.

— И как заполняется эта строка?

— Испытанием, — сказал Агафон Захарович. — Не на ступень. Ступень тебе никто сегодня не даст, и не проси. На статус.

— Разница?

— Разница в том, — сказала Регина Аркадьевна, — что после ступени в реестре появляется число. После этого испытания появится слово. Числа дом уважает. Слова дом обсуждает.

* * *

Условия огласили коротко, и в них не было ничего от церемонии. Поединок до отказа одной из сторон продолжать. Проводит представитель старейшин, свидетели не вмешиваются, оружия нет ни у кого. Ограничение по времени — до тех пор, пока проводящий не сочтёт исход установленным.

— Проводница, — сказала Регина Аркадьевна, не поднимая головы от тетради. — Ты с ним два месяца. Есть что-нибудь, что дом обязан внести в условия?

Даэлла подняла голову, и я ждал чего угодно: про засаду, про её руку, про то, что со вчерашнего дня я хожу выпотрошенный.

— Нет, Регина Аркадьевна, — сказала она. — Ничего, что дом обязан внести.

Перо остановилось на секунду и пошло дальше, а мне послышалось в этом только одно: она за меня не заступилась.

— Кожин, — сказала Регина Аркадьевна, и от стены отделился человек, которого я до этой секунды честно принимал за часть обстановки.

Ефим Тарасович Кожин, старший смотритель дома, был из тех, кого не замечаешь, пока они стоят. Невысокий, широкий в поясе, с короткими руками борца и лицом, которое за сто с лишним лет привыкло ничего не выражать в присутствии старших. Он стянул пиджак, аккуратно сложил его на стуле — сложил, а не бросил, — и закатал рукава до локтей.

По ощущению он стоял на ступень выше меня. Не на две. Ровно на одну, и это было сделано намеренно: старейшины не собирались меня убивать, они собирались измерить.

— Ефим Тарасович не будет тебя щадить, — сказал Агафон Захарович, подходя ближе и понижая голос до той степени, когда слышно только тому, кому говорят. — И не будет тебя добивать. Он делает это шестой раз за свою жизнь и ни разу не ошибся с границей.

— Понял.

— Не понял. — Он взял меня за предплечье, коротко и сильно. — Слушай внимательно, второй раз я это вслух не скажу. Всё, что ты умеешь необычного, ты сегодня не умеешь. Работай ступенью, на которой стоишь, и ничем сверх неё. Если ты покажешь им, как именно ты читаешь, — он выдержал паузу, — они получат ответ на вопрос, который сегодня всего лишь не задан.

Он отпустил руку и отступил.

Вот тогда я и понял, во что меня поставили. Мой единственный по-настоящему опасный инструмент был не ударом. За два месяца стало ясно: там, где положено вырастать Кровавой хватке — способности давить чужую кровь на короткой дистанции, — у меня выросло чтение.

Я не мог сжать чужую вену. Я мог прикоснуться к чужой крови и узнать, чем этот человек жил и чего боялся.

Как оружие это не стоило ничего. Как разведка — стоило боя целиком. У всякого, кто прожил сто лет, есть место, которое он бережёт, и кровь помнит, какое именно. Мне не пришлось бы его искать — мне бы его назвали. Потому-то его и нельзя было трогать: показанное при свидетелях, оно перестало бы быть моей особенностью и стало бы их доказательством.

Итого: семьдесят процентов резерва, одна ступень отставания, запрет на собственную огранку и комната, в которой всё уже начато с первой строки. Я прикинул шансы и не стал додумывать результат.

* * *

Кожин начал без объявления — просто пошёл вперёд, спокойным шагом человека, идущего закрыть окно. Первый его удар я поймал предплечьями и понял, насколько неверно оценил его по внешности. Меня снесло на два шага, отбило пальцы до онемения, и в плечевых суставах отчётливо щёлкнуло. Он не вкладывался. Он проверял, держит ли конструкция вес.

Второй пришёл в корпус, под рёбра справа, и вот в него он вложился.

Воздух вышел из меня целиком, разом, с тем позорным сиплым звуком, который невозможно контролировать. Я успел скрутиться, погасив часть импульса, и всё равно отлетел на песок, ободрав локоть до мяса. Песок под ладонью был сухой и тёплый, и я подумал совершенно посторонним куском сознания: его насыпали заранее, а значит, заранее знали, что я буду на нём лежать.

Я поднялся. Медленно, но сам.

Кожин ждал и не добивал — не из благородства, а потому что лежащий не даёт материала для записи. Дальше я делал ровно то, что делал бы на любом разборе аварии: перестал реагировать и начал считать. Он двигался не быстро. Он двигался экономно — без единого лишнего сантиметра, будто знал наперёд, где я окажусь. И он всё время держал левую руку чуть ниже, чем следовало.

Я рванул.

Кровавый рывок вышел грубым, дёрганым, с провалом в середине — резерв просел сразу процентов на пятнадцать, отозвавшись знакомой сухой болью у основания Ядра. Мир качнулся, растянулся, и я успел зайти ему за плечо и достать по печени, вложив в удар всё, что у меня было.

Он даже не покачнулся.

Он развернулся вместе с ударом, поймал меня за куртку и вбил спиной в стену. Штука-турка треснула. Что-то в спине треснуло тоже, и на несколько секунд мир сузился до одной задачи: вдохнуть. Он держал меня прижатым, буднично, без злобы, и я видел его лицо совсем близко — спокойное лицо человека, у которого всё шло по знакомому порядку.

И вот тогда меня повело.

Не к рывку. К крови. Его костяшки были разбиты о мои же зубы, и кровь на них была рядом, в ладони, в сантиметре, — и я почувствовал, как внутри само собой раскрывается то, чему Агафон Захарович только что запретил раскрываться. Оно не спрашивало — оно тянулось, как тянется рука к перилам на льду. Одно касание — и место, которое он бережёт, мне бы назвали.

Меня остановил не запрет Агафона Захаровича. Запрет я бы в тот момент не вспомнил.

Меня остановило то, что она стояла в трёх шагах от двери и всё-таки не вышла.

Я подумал — очень быстро, обрывком, каким думают под чужим весом, — что если сейчас открою это при всех, то первой, кому придётся жить рядом с человеком, которого дом объявит чужой поделкой, будет она. И что это, пожалуй, единственный способ отплатить ей за прошлую ночь такой монетой, какой я платить не хочу.

И закрыл это в себе, вручную, как задвигают тугой засов — с той же физической тяжестью в груди. Стало пусто и очень тихо.

А потом я вернулся к тому, что умел лучше всего: перестал искать приём и стал искать ошибку.

Левая рука. Он держал её ниже, и не из лени — он берёт локоть. Старая, сто лет назад сросшаяся неправильно кость, которую он всю жизнь выводил из-под удара так привычно, что уже не замечал этого сам. Мне этого никто не назвал. Я это увидел — как видят в чужой привычной работе движение, которого там не должно быть: сделано гладко, а по смыслу оно лишнее.

Я перестал уходить вправо, куда он меня аккуратно и настойчиво отжимал всё это время, и пошёл влево. В его слабую сторону. В неудобную.

Он поправился мгновенно, но мгновение — это и была вся разница. Я поймал его локоть на сгибе, не выкручивая — выкрутить я бы не смог, — а просто повиснув на нём всем весом и потащив вниз, туда, куда сустав не хотел идти сто лет. Он выдохнул сквозь зубы, впервые за весь бой издав звук. И вместе с ним пошёл вниз.

Мы упали вдвоём, тяжело, без изящества. Я оказался сверху, коленом на его предплечье, и ударил. Второй раз. Третий. Костяшки разошлись сразу, кровь пошла и моя, и его, и мне пришлось делать всё это, держа внутри наглухо закрытым то, что рвалось наружу от одного её запаха.

— Довольно, — сказал Агафон Захарович.

Я не услышал с первого раза, он повторил, и я остановил руку в воздухе.

Кожин лежал, дыша ровно, и смотрел на меня снизу вверх без тени обиды. Потом коротко, деловито кивнул — не мне, а куда-то в сторону стола.

— Отказ продолжать, — сказал он. Голос был спокойный. — Локоть. Не встану быстро. Он мог продолжать. Мы оба это знали, и оба знали, что он этого не скажет.

* * *

Я стоял посреди зала, шатаюсь, с ободранными руками, и слушал, как за спиной перо царапает бумагу.

— Формулировка, — сказала Регина Аркадьевна.

В зале стало очень тихо.

— Признан членом дома, — произнесла она ровно, выводя каждое слово. — Испытание проведено при свидетелях, исход установлен проводящим. — Пауза. — Ранг по результату испытания не установлен.

— Почему? — спросил я.

Я спросил раньше, чем сообразил, что спрашивать не следовало. Она подняла голову, и на её лице появилось выражение — не сочувствие, а сосредоточенность человека, которому принесли готовый результат и не показали, как его получили.

— Потому что я не могу записать число, — сказала она. — Ты выиграл у Ефима Тарасовича, стоящего ступенью выше. По правилу это значит, что ты стоишь не ниже него. Но техник своей ступени ты не применил ни одной. — Она посмотрела на меня прямо, и я понял, что она считала каждую секунду боя внимательнее всех в этой комнате. — Тебя вытащила физика, чужой старый локоть и упрямство. Я записываю то, что было, а не то, что из этого следует. Ранг остаётся неустановленным.

— Это плохо?

— Это открытая строка, — сказала она. — У меня их не любят.

Агафон Захарович стоял у стены с непроницаемым лицом, и только когда Регина Аркадьевна закрыла тетрадь, я заметил, что он всё это время очень медленно разжимал сцепленные за спиной пальцы.

Даэлли у двери уже не было — я не заметил, когда она вышла, и никто, кроме меня, кажется, не заметил тоже.

Я нашёл в себе силы дойти до восточного крыла и постучать. Мне никто не открыл, хотя за дверью было слышно, что там кто-то есть, — по той особенной тишине, которая отличается от пустоты тем, что в ней стараются не дышать.

Я постоял, прислонившись лбом к прохладному косяку, и ушёл. Тогда мне казалось, что я знаю, за что она себя корит: за то, что смотрела, как меня бьют, и ничего не могла сделать.

* * *

Кожин нашёл меня в коридоре через полчаса — с рукой на перевязи, застёгнутый на все пуговицы, будто ничего не произошло.

— Ты не показал, — сказал он.

Не вопрос. Утверждение, произнесённое человеком, который шесть раз в жизни проводил эту процедуру и все шесть раз знал, чего ждут от него старейшины.

— Не показал чего? — спросил я.

Он посмотрел на меня долго, устало — взглядом профессионала, оценивающего чужую работу.

— Правильно, — сказал он и пошёл дальше.

Я стоял в пустом коридоре, считал ущерб — два ребра под вопросом, спина, ободранные до кости костяшки, резерв на сорока с чем-то процентах — и понимал, что выиграл не то, что собирался. Рёбра в этом теле сходятся за ночь, спина — за двое суток, и платит за это тот же резерв, в котором и так осталось меньше половины.

Я хотел, чтобы меня признали. Меня признали.

И ровно в тот же момент в реестре дома появилась строка, в которой про меня было сказано: что-то есть, но чего именно — мы не установили. В доме, где всё измеряется числами, я стал единственной записью без числа.

Копию протокола отнесли Дамиану до заката. Я узнал об этом от младшего, который её нёс и не догадался, что об этом не следует говорить вслух.

— Он прочитал два раза, — сказал младший, довольный тем, что ему есть чем поделиться. — Второй раз медленно. А потом спросил, кто выбирал Ефима Тарасовича.

— И что ему ответили?

— Никто ничего, — сказал он уже на ходу. — Он спрашивал не нас.

Глава 12 Трещина

Даэлла избегала меня три дня подряд. Счёт я вёл от того утра, когда она стояла у двери малого зала и ни разу не подняла головы. Избегала не напоказ: обвинения из этого не сложишь, и предъявить ей было нечего. Просто находился повод оказаться в другом крыле дома ровно тогда, когда я входил в комнату, и на любой вопрос она отвечала на два слова короче, чем месяц назад. Ей было больно на меня смотреть — вот что это было, и от этого делалось хуже, чем от любой ссоры. Один раз я поймал её взгляд в коридоре, и она отвела глаза раньше, чем я успел кивнуть; сказало это больше, чем сказала бы она сама. К этой тишине добавлялось моё собственное состояние, и его я тоже не мог объяснить: все три дня у самого основания Ядра держались сухость и глухой шум — похмелье, только не от вина, и к третьему дню оно не ослабло. Будто по дну прошлись тралом, и муть ещё не осела.

На второй день я наконец загнал её в угол — буквально, у двери кухни, откуда сбежать было не так-то просто.

— Я сделал что-то не так?

— Нет, — сказала она. Голос сел на этом слове, и я почти пожалел, что спросил. — Ты — нет. Дело не в тебе.

— Тогда в чём?

— В том, что я не могу тебе сказать. — Это было честнее, чем всё, что она говорила мне за последние два месяца, вместе взятое. — Просто дай мне немного времени, Арсений. Пожалуйста.

Я дал. Давить дальше не хотелось. В прошлой жизни я четыре года читал людей по работе — по паузам и по тому, куда они девают руки, — и эту дистанцию я узнавал: вина. Не та неловкость, что бывает наутро после одной ночи, — вина с весом, настоящая. Я сам прятал такую за ровным рабочим тоном, и по себе знал, на что это похоже со стороны.

Что именно её тяготило, я не понимал. Не понимал и вязкой пустоты в затылке, что осталась после нашей ночи, и списывал её на откат: годами не позволял себе открыться ни перед кем, а тут позволил, и тело выставило счёт. Но незакрытых дел хватало и своих, а тратить всё рабочее время на чужие я не привык. Одно из них ждало давно, и весило оно больше, чем трещина между мной и Даэллой, которую я пока не мог ни увидеть, ни залечить.

По пути в архив я срезал через восточную галерею, обычно в это время пустую. Один из слуг у лестницы вскинул голову на звук шагов и отвёл взгляд быстрее, чем требовала простая вежливость — так отворачиваются не от хозяина, а от того, что видеть не хотят. У поворота к крылу Дамиана охраны стояло на человека больше обычного, без видимой причины и суеты. Аналитическая часть меня отметила несовпадение и тут же отпустила его — своих дел на сегодня хватало.

Отпустить получилось шагов на двадцать. У выхода из галереи навстречу шёл Ефим Тарасович Кожин — застёгнутый на все пуговицы, как тогда в коридоре. Перевязи уже не было, а левую руку он всё равно нёс ниже правой: сто лет привычки за три дня не снимаются. Под мышкой у него была тонкая тетрадь.

Он остановился первым. Я — потому что остановился он.

— К Регине Аркадьевне, — сказал он, будто я спросил, и чуть приподнял тетрадь. — Журнал ворот. Сдаю.

— Сдаёте кому?

— Ей. Бумаги — её. Под роспись, потом вернут на пост. — Он помолчал ровно столько, чтобы следующее не выглядело продолжением. — Меня переводят. На другой объект, до распоряжения.

— А ворота?

— Расписываться будет тот, кто останется.

Я посмотрел на тетрадь. Три дня назад этот человек лежал подо мной на песке и объявлял отказ продолжать, имея возможность продолжать. Теперь он нёс сдавать журнал, как сдают ключи.

— За то, что проиграли?

— За то, что меня выбрали.

Тем же голосом, каким он говорил «правильно», — и стало ясно, что продолжения не будет: он выдал слово и ни одного сверх. Кивнул — не мне, куда-то в сторону лестницы — и пошёл дальше, унося тетрадь и локоть.

Я сложил это с лишним человеком у крыла Дамиана, и сошлось легко. Глава дома прочитал протокол два раза и спросил, кто выбирал Ефима Тарасовича, — а теперь двигал людей. Своих — к себе, чужих — от себя. Обычная перестановка мебели после совещания, на котором начальник узнал, что решение приняли без него; я такие видел и такие делал сам. Смотрителя, которого выбрали старейшины, переводили за то, что его выбрали старейшины. Логично, скучно и не про меня.

Я отложил это туда же, куда охранника у крыла, и пошёл в архив.

* * *

Агафона Захаровича я нашёл там же, где всегда, — в архиве, между стеллажами, над старой книгой. Листал он её так, что не слышал бы ничего тише пожарной тревоги.

— Хочу вернуться к родословной книге, — сказал я. — К записи о Никите Владимировиче.

Головы он сразу не поднял: секунду держал паузу — дольше, чем нужно, чтобы дочитать строку, — и только потом закрыл том, а палец оставил между страницами.

— Я думал, ты уже понял всё, что там можно понять. Отредактированная запись. Кто-то постарался, чтобы правда не сохранилась. Это ты мне уже рассказывал два месяца назад, если помнишь.

— Теперь я умею больше, чем два месяца назад. Тогда я мог только смотреть на изменённые чернила. Сейчас я могу их прочитать.

У него дрогнул угол рта — один раз, и всё. Но два месяца это лицо не показывало мне ничего, кроме вежливого внимания, и по его меркам это был крик.

— Не советую.

— Почему?

Он не ответил. Развернулся и пошёл в дальний угол архива, где стеллажи стояли теснее и проход был в одного человека. За два месяца я ни разу не видел, чтобы он заходил туда без крайней нужды. Я пошёл следом и не переспрашивал.

Он долго молчал, и за это время плечи ушли вниз, а ладонь легла на полку и осталась там. Передо мной стоял не архивариус, который взвешивает каждое слово, а старый человек, который слишком долго нёс что-то один.

— Потому что чернила ничего тебе не скажут. Запись подделал не я лично рукой, но по моему прямому попустительству — я знал, что происходит, и не остановил, потому что был слишком напуган тем, что случится, если я это сделаю. Я хранитель тайн этого дома, Арсений. В ту ночь я хранил не память о законном патриархе. Я хранил свою собственную жизнь.

Я стоял и не двигался. Выводы последних месяцев стояли на том, что он хранит правду, а сейчас пол под ними подался.

— Тогда что ты можешь мне сказать?

Он посмотрел на меня и не отводил глаз секунд пять. Потом повернулся к стеллажу, снял несколько увесистых томов, по одному, составил их на пол и достал из ниши за ними плоский деревянный ларец. По крышке шла та же вязь резных знаков, что я видел на шкатулке Дарины. Это решение он, похоже, откладывал два месяца, а вернее — все десять лет.

— В ночь, когда умер Никита Владимирович, — сказал он, ставя ларец на стол между нами, — я вошёл в его кабинет через две минуты после того, как остановилось его сердце. Меня ждали — я нёс ему архивные дела на ночной разбор, который он всегда вёл один, без посторонних глаз. Дамиан знал этот распорядок не хуже меня — и всё равно выбрал именно этот час. То ли не рассчитал двух минут, то ли рассчитал их слишком точно. Тело было ещё тёплым. Дамиан стоял над ним с таким лицом, будто ничего особенного не произошло. В ране патриарха оставался вот этот клинок.

Он открыл ларец. На подложке из выцветшего бархата лежал короткий ритуальный клинок. Не тот, которым Дарина резала себе вены той ночью: этот тяжелее, рукоять в серебре, и серебро за годы почернело. У самого основания лезвия темнело пятно, ушедшее в металл на такую глубину, что оттереть его было уже нельзя: кровь, и старая.

— Я вынул его из раны прежде, чем кто-либо успел войти следом за мной, — сказал Агафон Захарович. — Сказал себе, что делаю это ради дома — что открытое обвинение Дамиана в ту же секунду разорвало бы клан на части, а дом и без того балансировал на грани после смерти законного патриарха. Убедил себя, что храню улику до подходящего момента. Момент так и не наступил. Десять лет я убеждал себя, что жду правильного часа, а на деле просто боялся.

— Почему он вас не убил?

Вопрос вышел грубее, чем я хотел, но аналитик во мне уже видел дыру в схеме и не собирался её обходить. Свидетель, вошедший через две минуты, — это не риск. Это пробоина. Такие закрывают в ту же ночь.

Агафон Захарович не оскорбился. Кажется, он ждал этого вопроса десять лет.

— Не мог. Один мёртвый патриарх — несчастный случай, и дом такое проглатывает не поперхнувшись. Два тела за одну ночь, и второе — старейшина, — это уже разбирательство, поверенный из Совета Домов и вскрытая родословная книга. Ему нужна была тихая смерть, а не ночь с двумя телами. Ему нужно было, чтобы к утру всё выглядело скучно. — Он выдержал паузу. — А к утру клинок был уже у меня. С тех пор мы оба понимали: кто сделает шаг первым, тот потеряет больше. Это не пощада, Арсений. Это пат, в котором я простоял десять лет и называл его осторожностью.

— Почему сейчас? — Я смотрел на клинок и старался не моргать: казалось, моргну — и его не станет.

— Потому что ты едва не погиб в баре на Мясницкой. И потому что я слишком долго наблюдал, как этот дом медленно убивает сам себя молчанием, чтобы наблюдать за этим ещё десять лет. Я не герой, Арсений. Но, кажется, я устал быть трусом чуть больше, чем боюсь перестать им быть.

Я протянул руку к клинку. Он не остановил меня.

Ударило резче, чем я ждал. С чернилами приходило эхо — размытое, мягкое по краям, и в него приходилось вслушиваться. Здесь образ пришёл целиком и с первой секунды в фокусе. Десять лет в закрытом ларце ничего не стёрли: они это впечатление закупорили, и оно вышло таким же острым, каким туда вошло.

Кабинет встал перед глазами разом и весь, до последней грани. Запах сургуча, полированного дуба и мороза: форточка была приоткрыта на ладонь. Десять лет назад в этом кабинете всё стояло на своих местах. Никита Владимирович сидел за столом спиной ко мне, массивный, над раскрытым фолиантом, и перо скрипело по пергаменту ровно, строка за строкой. А за портьерой, в тени, уже поднимался силуэт — без звука, без единого лишнего движения, — и сухую армейскую выправку я узнал раньше, чем увидел лицо.

Никакой паузы, никакого пафоса или ритуальных пауз: убийство было отработано до автоматизма. Левая рука фигуры в перчатке намертво зафиксировала затылок старика, а правая вогнала ритуальный клинок точно под углом сорок пять градусов — в основание черепа, мгновенно рассекая ствол мозга и пережимая сонную артерию. Патриарх даже не вскрикнул:

лишь глухой влажный хруст хряща, конвульсивный рывок пальцев, сжавших перо, и чернильная клякса, расплзшаяся по странице.

Палач аккуратно опустил мёртвое тело на пол, придерживая его, чтобы не было шума, и повернулся вполоборота к свету камина. Это было лицо Дамиана Саввича — то же, что сейчас, десять лет не оставили на нём ни линии, — с теми же стеклянными, пустыми глазами, с какими вычёркивают человека из списка.

Я отдёрнул руку, образ схлопнулся, и в архиве стояла тишина, в которой звенело только у меня в ушах.

— Теперь ты видел то же, что видел я, — тихо сказал Агафон Захарович. — Больше не мои слова против его власти. Свидетельство, которое клинок хранил всё это время, — и, если я правильно понимаю твой дар, свидетельство, которое ты сейчас можешь повторить перед кем угодно, у кого хватит смелости спросить, как ты это узнал.

Я смотрел на клинок, лежащий между нами на изъеденном временем бархате. Впервые с той ночи, когда меня втащили в этот дом против моей воли, страх и растерянность ушли — осталось ровное, холодное желание довести дело до конца, чего бы это ни стоило.

Глава 13. Второе дно

[18+ — глава содержит сцены жестокого насилия]

— И что ты намерен с этим делать? — спросил Агафон Захарович. Молчание в архиве к тому времени тянулось минут пять, и первым его не выдержал он.

Клинок всё ещё лежал между нами на бархате, и я всё ещё смотрел на него. За эти минуты я успел придумать и отбросить с десятков ответов — от «созвать совет прямо сейчас» до «ничего, просто буду знать».

— Не знаю. Хочется пойти и сказать всем. Прямо сейчас.

— Не советую, — сказал он тем же тоном, каким два месяца назад отговаривал меня трогать чернила в родословной книге. — Подумай, что у тебя на руках. Клинок. Я прятал его десять лет, и о нём не знает никто, кроме нас двоих. Видение. Подтвердить его может только твой дар, а о даре дом узнал две недели назад и уже смотрит на тебя с опаской. Ты хочешь выйти к старейшинам и сказать: поверьте мне на слово и способностям, в которых даже я сам толком не разобрался?

— Значит, что? Просто сидеть и ждать?

— Значит, расти. Дамиан на пике Шага I. Пока разница между вами больше одной крупной ступени, любой твой вызов — способ умереть по уставу, и больше ничего. У тебя есть правда. Силы, которая заставит эту правду что-то значить, у тебя пока нет. Копи и то и другое. Придёт момент, когда откладывать будет уже не безопаснее, чем ударить сейчас.

Я не спорил, хотя спорить хотелось. Та часть меня, что всю жизнь отличала хороший план от порыва, понимала: он прав. Прав настолько, что это раздражало сильнее любого несогласия.

— Тогда помоги мне с другим. Про смерть её отца я теперь знаю. Я хочу знать, кем она была все десять лет после. Для благородной скорби без единого пятна это большой срок.

Агафон Захарович не удивился. Он кивнул — коротко, себе, а не мне: этого вопроса он от меня ждал, этого же вопроса боялся, и вот он прозвучал.

Он ответил не сразу. Понизил голос, хотя третьего в архиве быть не могло, и на секунду скосил взгляд на дверь: плотно ли закрыта. За два месяца рядом с ним я такой привычки не замечал.

— Осторожнее с такими вопросами. Иногда правда, которую ищешь, выходит неудобнее той, от которой бежал.

— Я уже давно не жду от этого дома удобных правд.

* * *

Он рассказал не сразу — и не всё сразу. За следующие дни, урывками, между тренировками и архивом, по фразе-другой за вечер, из его обмолвок сложилась картина. Я предпочёл бы её не видеть.

— В последние недели перед её смертью, — сказал он однажды вечером и не поднял головы от бумаг, — несколько человек из тех, кто хранил верность памяти Никиты Владимировича, один за другим пропали из жизни дома. У каждого своя бумага: переезд, уход в затворники по своей воле, нервный срыв на фоне возраста. Я тогда не связал эти случаи между собой. Слишком разные люди, слишком разные объяснения. Теперь, когда мы оба знаем то, что знаем, я вижу закономерность. Раньше я её видеть не хотел.

— Сколько человек?

— По меньшей мере трое. Я помню имена. Одно — Владимир Сергеевич Ряжский. Старый боец, служил ещё при Никите Владимировиче лично и до последнего верил, что власть однажды вернётся к законной линии. Он исчез из дома за три недели до ночи, когда Дарина обратила тебя. По бумагам — нервный срыв, помещён в лечебницу, чтобы не навредил себе.

Тогда я поверил. Он был немолод даже по людским меркам, а десять лет обиды кого угодно доведут до срыва.

— А теперь?

— А теперь я думаю, — сказал Агафон Захарович, — что мы обманывали себя настолько усердно, насколько это вообще возможно.

* * *

Найти лечебницу оказалось проще, чем я боялся: хватило одного вечера. Агафон Захарович помнил не только имя, но и адрес, куда, по слухам, увезли Владимира Сергеевича: городская психбольница на окраине, корпус за бетонным забором, из тех, мимо которых едешь годами и не запоминаешь названия.

— Люди дома сидят в городских службах достаточно плотно, чтобы устроить туда кого угодно тихо, — сказал Агафон Захарович, когда мы обсуждали, каким способом мне вообще попасть внутрь. — И достаточно плотно, чтобы держать там кого угодно годами, если нужно. Заведующий отделением — наш, на кровной связи, всё остальное завязано на нём одном. Персонал под ним вышколен по инструкции сверху: с «особыми» пациентами обращаться так-то и так-то, а зачем — не сказано. Они понятия не имеют, что охраняют.

Я поехал один. Компании мне как раз хотелось. Но Даэлла в те дни всё ещё держала дистанцию, и подступиться к ней я так и не научился, а тащить кого-то ещё на визит, вся легенда которого — один поддельный бланк, добытый через связи дома, значило добавить риск без нужды.

Больница оказалась ровно такой, какой я её представлял. Советский корпус, штукатурка отбита до кирпича на уровне плеча, в вестибюле хлорка и несвежее бельё. Персонал задёрган до того, что мою поддельную бумагу о «дальнем родственнике» проверили не внимательнее, чем чек в супермаркете: медсестра на посту сверила фамилию с журналом, вписала время, вернула бумагу и на меня так и не посмотрела. Меня провели по коридору — лампы дневного света под потолком жужжали громче, чем положено даже для человеческого уха, — в комнату для свиданий три на четыре метра: решётка на окне, стол привинчен к полу, два стула — тоже.

— Он не всегда реагирует на посетителей, — сказала медсестра и открыла передо мной дверь. Сама внутрь не вошла. — В хорошие дни — почти нормальный. В плохие — лучше не подходить близко.

Владимир Сергеевич Ряжский сидел у окна и смотрел на пустой больничный двор. Сухой, кожа обтянула скулы, на кистях рук старые шрамы, зажившие давно и неровно — не порезы с кухни, а десятилетия боёв. На вид ему было около шестидесяти, но я уже знал, чего стоит эта оценка в моём новом мире.

Он не обернулся сразу. Голова повернулась медленно, и я увидел лицо старика: щёки впали, кожа высохла и побелела, взгляд человека, который слишком давно живёт в одной комнате. Ничего в нём не выдавало ни зверя, ни вампира; будь я человеком, прошёл бы мимо палаты и не оглянулся. Странность была в другом — в неподвижности. Плечи и шею он держал, как держат полный до краёв стакан: любое лишнее движение могло что-то в нём сдвинуть, и лучше было не проверять.

— Ты пахнешь ею. — Вместе с хрипом изо рта пахнуло горьким озоном и жжёной кровью: запах проводки, сгоревшей от перегрузки. — Кровью рода. Ты пахнешь так, как пахла она, когда ломала мне хребет своей милостью.

Волосы у меня на затылке встали дыбом. Его правый зрачок дрогнул: стянулся в узкую щель и тут же снова округлился. Полсекунды, не больше.

— Знал, — прошептал он, и под воротником больничной рубашки заходили желваки: спазм скрутил ему шею, ключицы сместились с хрустом, и хруст я услышал через стол. Радужку того же глаза на миг затянуло тёмной плёнкой, и глаз помутнел. — Она обещала вернуть нам линию. Обещала, что боль — это просто адаптация сосуда. Она не была жестокой, нет. Просто

действовала как слепой скульптор. Лгала не со зла — сама не знала, во что превращает нас, пока методом проб и ошибок искала формулу для тебя.

Он вдруг вскочил. Суставы взвыли: на такую скорость это тело рассчитано не было. Пальцы вцепились в край стола и удлинились, ногти потемнели, треснули, из трещин пошла сукровица. Оба зрачка теперь рвались в вертикальные щели, по правой половине лица под кожей вздулись узлы вен, чёрные с синевой. Давление его искалеченного Ядра выплеснулось наружу: воздух в комнате отяжелел, надавил на уши и на грудь, лампы на потолке замигали.

— Она сделала меня черновиком! — взревел он, и звук перешёл в утробный волчий клёкот, в котором человеческая речь сминалась под напором неуправляемой мутации. — Недописанным! Бракованным куском мяса, в который влили силу патриарха и забыли стабилизировать! Она заперла меня здесь гнить заживо, потому что на следующем подопытном код наконец сошёлся!

Дверь за моей спиной распахнулась: под столом была спрятана педаль, и она сработала без звука. Двое санитаров вошли слаженно, без паники и без лишней суеты. К буйным больным заходят иначе. Так заходят к хищнику, чьи движения им расписали по пунктам. Расписал тот, кто отлично знал, что именно умиротворяет, и ни разу не объяснил им ничего дальше рефлекса. Один с ходу зашёл из мёртвой зоны и вбил ладонь со свинцовым фиксатором в основание шеи Ряжского — туда, где под кожей главный узел Ядра. Импульс силы заглох раньше, чем успел разогнаться. Второй навалился сверху, прижал лопатки к кафелю и той же секундой загнал в бедро шприц-пистолет с густым матовым раствором. Подавитель из арсенала дома; его запах я уже знал по подвалам особняка. Из больницы аптеки такой не выдают — он лежит в сейфе заведующего. Владимир Сергеевич рванулся, и силы в рывке было столько, сколько у человека не бывает: привинченный стол закрипел на болтах. Но держали его те, кто знал, где у вампира что гнётся, а что нет. Через секунду он обмяк — весь, разом, как будто его выключили.

— Она приходила ко мне, — прохрипел он. — Дважды за эти недели. Второй раз — в ту самую последнюю ночь, перед тем, как всё это началось с тобой. Спроси её, о чём она плакала, когда просила у меня прощения.

* * *

Дорога обратно в центр, через мокрую ночную Москву, заняла полтора часа. Таксист за всю дорогу не сказал ни слова, радио у него молчало тоже, и я был ему за это благодарен. Дворники размазывали по лобовому стеклу серую осеннюю морось — взмах, скрип, взмах, — и под этот скрип я раскладывал услышанное на части, одну за другой.

Картина, которую я собирал два месяца, рассыпалась. Дарина не действовала в слепом порыве последней секунды. Она пробовала. Одного за другим, по порядку: кто не выдержал давления отцовской крови — вычёркивался, и она переходила к следующему, потому что следующий у неё пока был. Владимир Сергеевич не попал под случай. Он был попыткой, которая не удалась, — её не стали доводить до конца и убрали туда, где она никому не мешает.

А я был той попыткой, которая получилась.

Я поймал себя на том, что думать об этом чужими словами — про итерации, отбраковку и допустимый процент потерь — заметно легче. В прошлой жизни этот язык помогал не чувствовать лишнего на неприятных совещаниях, и он работал безотказно. Здесь он тоже работал. Поэтому я заставил себя от него отказаться и посчитать заново, обычными словами.

Три человека. Двое мертвы, один сошёл с ума. Она знала каждого по имени, они пошли на это ради неё — и к тому, кто выжил, она за последние недели приходила дважды. Сидела напротив, смотрела, как он царапает край простыни, и молчала.

Дамиан вогнал клинок патриарху в основание черепа ради власти. Дарина, чтобы эту власть вернуть, перешагнула через тех, кто был ей предан. Разница между ними оказалась меньше, чем мне хотелось бы. Правых здесь не было; были хищники, и отличались они только

тем, насколько припёрты к стене. Чтобы не закончить в соседней палате со стёртой памятью и перебитым Ядром, мне придётся играть по их правилам — и играть лучше них.

Такси затормозило у кованых ворот особняка, когда город окончательно утонул в сырой предутренней мгле. Я расплатился с водителем и шагнул на тротуар — и боковым зрением зацепил тёмный седан без опознавательных знаков службы охраны Дома. Машина стояла на противоположной стороне улицы с выключенными габаритами — слишком долго и неподвижно для случайного ожидания.